

Несложно понять, что жизнь определяется кумулятивным эффектом ряда значительных потрясений. Логика Чёрного лебедя делает то, чего вы не знаете, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Ведь если вдуматься, то многие Чёрные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал.

Нассим Талеб. “Чёрный лебедь”.

1

Всё началось с неожиданного визита ко мне Алексея Малькова. Он появился, как в популярных сериалах об успешных дельцах новейшего времени, на огромном чёрном джипе, дорого одетый, солидный, уверенный в себе господин. Замечу, в самое удобное для меня время. Не рано и не поздно, словно подглядывал или подслушивал, когда я, отзавтракав почти в полдень, — в родном гнезде, каюсь, встаю поздно, — прилёг было с книжкой на раскладушке в нашем старом запущенном саду, посаженном ещё моим дедом. Он зашёл во двор, цепко охватив своими рыже-коричневыми, с мелкими

белыми вкраплениями, как оперенье у ястреба, глазами моё небогатое обиталище, и с порога, как будто мы и не расставались на добрых три десятка лет, сделал мне предложение, от которого — опять же, как говорили в известной киносюжете, — было невозможно отказаться.

Но прежде о самом Алексее Малькове, Лёхе, моём, можно сказать, приятеле ещё со школьной скамьи. Мы учились с ним в одной школе, правда, в параллельных классах. Что-то нас сближало и тянуло друг к другу однозначно. Хотя до старших классов мы не знали, росли, что называется, на разных площадках. Я в старой черте города, у реки, где город собственно с незапамятных времён и начинался, выбираясь широкой, застроенной старыми особняками (ампирные подсушенными подсолнухами отцветают до сих пор) улицей вверх по высокому правому берегу к площади. До известных событий начала прошлого века это была Дворянская улица. Я жил по соседству с Дворянской среди также сохранившихся до наших дней, вросших в землю с немереной силой двухэтажных купеческих домов и лабазов. В этой части нашего древнего Свободярска издавна обитала публика пограмотнее, почище, поукоренёнее. Лёха рос в новом микрорайоне, в так называемых Черёмушках, куда в пятиэтажные, пыльно-легковесные панельки во второй половине шестидесятых прихлынула волна сельского люда из “неперспективных” окрестных деревень и многочисленных итэровцев, прибывших на в одночасье начавшие строиться “номерные” заводы — “почтовые ящики”, как их звали в городе. Я рос в семье школьных учителей второго поколения. Родители Лёхи работали инженерами на споро, как по щучьему велению, возведённых, тех самых закрытых “почтовых ящиках”.

Задружились мы с Лёхой, как я уже говорил, только в десятом классе. Сближение началось так стремительно, как стремительно могут сближаться или становиться непримиримыми врагами подростки, почувшие каждый за собой лидерские качества. Без лишней позы скажу, что в своём десятом “А” признанным интеллектуалом был я. Лёха на голову превосходил всех в десятом “Б”. Пользуясь своими неожиданно открывшимися возможностями, я мог блеснуть, разумеется, в дозированных объёмах и в “правильной” интерпретации, познаниями, мало кому ведомыми тогда. Скажу так, мне нечаянно открылись имена Розанова, Мережковского, Гишпиусе, Ницуса, Бердяева, Соловьёва... Страшно сказать, я даже осилил тогда “Волну к власти” Ницше. Пусть не всё понимая, но всё это я читал тогда, улавливая, что это, как сказали бы сейчас, круто... Так что я чувствовал себя вполне авторитетно, рассказывая о жизни, скажем так, другой, спрятанной, закрытой. Дореволюционной, словом. Лёха, надо заметить, давал мне фору, что называется, в дне сегодняшнем. Он иногда подпускал такие оценки того, что происходило на самом верху, рассказывал такое, что не вещали даже по “голосам”, и мне становилось жутковато. Не знаю, почему, но политики я как-то интуитивно сторонился. Возможно, сыграл свою роль отец своими страшными рассказами, как прихватили, правда, потом отпустили, после войны деда, учителя естествознания, за какое-то неверное слово о генетике на педсовете в школе. Как дед за какие-то полгода пребывания ТАМ превратился в развалину, не смог уже работать, на глазах чахнул, успел, правда, разобраться со старым садом, уже не родящим, посадил новый и в одночасье умер, не дожив до шестидесяти...

Но молодость доверчива, и с Лёхой встречаться было интересно. Местом наших встреч был каким-то чудом уцелевший, довольно протяжённый, километра в полтора-два, городской крепостной вал. “Тут, кроме земляных, ни одного жучка”, — говорил обычно Лёха, когда мы поднимались на высокий гребень мощного оборонительного сооружения, где в густой траве всегда была натоптана местными влюблёнными тропинка. “При чём тут жучки?” — спрашивал я. Лёха покровительно выпячивал свою и без того внушительную, тяжёлую, какую-то неандертальскую нижнюю челюсть, снисходительно поглаживал меня сверху вниз рыже-коричневыми, ястребиными глазами и, глумливо озираясь, нарочито понижая голос до шёпота, рассказывал о подслушивающих устройствах, расставленных в нашем городке, по его словам, повсюду, чуть ли не в общественных туалетах. “Откуда знаешь?” —

нова задавал вопрос я, закиная от Лёхиной снисходительности и покровительственного тона. “Так у меня же родители инженеры, на военном заводе пашут... Они же эти штучки и делают!” — напускал важности Лёха. “А потом, — добавлял он, хитро прощупывая меня взглядом, — есть один человек... Он знает всё”.

Вот так мы и гуляли, самолюбиво меряясь всезнайством и начитанностью, касаясь дерзко с юношеской лёгкостью материй сложных и непростых, но проявляя, как мне всегда казалось, друг к другу какое-то странное недоверие и осторожность. Я напускал форсу размышлениями о декадансе, Серебряном веке, распаде придворной элиты, всеобщей заражённости революционными идеями, бездействии и мягкотелости последнего царя. Лёха опять же, снисходительно посмеиваясь, разворачивал мои повествования, как зеркало, к нашей действительности, и я с ужасом обнаруживал многое похожим. Я не мог взять в толк, как это у него так ловко получается, но это умение, если так можно сказать, мне сильно не нравилось. Не нравилось, что он мог так ехидно подкусить в любой обсуждаемой теме какую-то очень важную жилку, что всё распадалось и, самым неожиданным образом осмеянное, приобретало какой-то окарикатуренный, опошленный смысл.

Ловок был Лёха, энергичен и наступателен во всём. Выше среднего роста, весь словно сплетённый из мышц. На стадионе не было ему равных в беге, прыжках в высоту, подтягивании на турнике, игре в футбол. Помнится, он пробовал меня учить владеть мячом, поскольку футболисты почему-то всегда нравятся красивым девушкам. А для нас обоих успех у девушек, непременно красивых, был чем-то непреложно-обязательным в развитии неординарной личности, к коим мы себя, не признаваясь открыто, однозначно относили... Главное, говорил он, в игре, на поле, не поддаваться эмоциям, сохранять хладнокровие, всё делать продуманно и неожиданно, постоянно перемещаться, обманывая ложными движениями противника, у чужих ворот, будучи с мячом, выбрать позицию без силуэта соперника по курсу и прицельно пробить так, будто тебе в носок ботсы залили свинец, тогда мяч, как из пушки, точно пойдёт, куда ты захочешь. При ударе нога должна превращаться в свинцовую битую, и мяч подвластен тебе, как по уши влюблённая в тебя девушка, разъяснял Лёха. На последних словах он как-то особенно начинал подсмеиваться, и покровительственная снисходительность так и перла из него. Но как я ни старался представить при ударе по мячу, что моя нога превращается в какое-то подобие железного рычага, ничего у меня не получалось. У Лёхи же мяч пробивал самые глухие стенки и самых ловких вратарей. Поэтому по нему сохли самые красивые старшеклассницы и поэтому его покровительственная снисходительность ко мне становилась всё невыносимее. К исходу десятого класса, перед поступлением в институт, моя дружба с Лёхой предсказуемо завяла.

После школы наши дороги разошлись окончательно. Я поступил в Москве в университет на факультет журналистики. Печататься начал ещё с класса восьмого в “Уголке краеведа” нашей “Зорьки”. Так звали у нас в обиходе районную газету “Заря коммунизма”. Мальков тоже в столице стал неожиданно студентом строительного института, хотя в период нашей дружбы он не раз говорил, что мечтает быть только гуманитарием. Тут-то и выяснилось, как простодушно и даже с гордостью рассказала мне родственница Лёхи, которую я случайно встретил в электричке, что протолкнул Малькова в институт почти вне конкурса его родной дядя, ходивший, оказывается, в Москве в больших чинах.

Московская стихия захватила каждого из нас стремительно и повлекла по своим рукам и течениям. С первых же курсов я пристроился в центральную газету, и тут уже мне было не до одноклассников. Карьера моя складывалась как-то очень буднично и ровно, если моё профессиональное становление можно было вообще назвать карьерой. Мне, беспартийному, серьёзных постов не предлагали, но простым корреспондентом брали везде охотно. Перепробовав немало редакций и специализаций, я остановился на культурной ниве. Писал о музеях и театрах, премьерах и дебютах, книжных новинках, выставках, актёрах и писателях. Незаметно вошёл и стал своим

в пёстром, переливающимся разными красками и оттенками мире так называемых творческих людей. Ни к каким политическим, идеологическим течениям, которыми так богата российская творящая публика, не примыкал, что и обернулось, как показало время, мне только во благо. Когда рухнул советский строй, я несколько не потерял. Как писал, так и продолжал пописывать статейки на культурные темы. И даже более того, стал зарабатывать приличнее. Многие прежние светила закатывались в небытие и, чтобы не погаснуть окончательно, охотно платили редакции за рекламные заметки. Ну, а о восходящих звёздах, рвущихся к популярности и деньгам, и говорить не приходилось. Они последнее отдавали ради нескольких строчек в большой газете. Шоу-бизнес стремительно набирал обороты. Правда, тут я должен оговориться, брал я только свой процент, о суммах и передачах денежных средств болели головы доверенных лиц кумиров публики и редакционных рекламных агентов. Я только писал и визировал тексты, финансовая сторона дела меня не касалась. Таинственный, мистически-катакомбный мир денег, как и политика, меня пугал и отвращал от себя.

О Малькове же изредка доходило, что после института он стремительно пошёл в гору. Стал чуть ли не замом градоначальника по строительству. Опять же, говорили, благодаря дяде, который после распада Союза только набирал вес в кремлёвской администрации, в которой оказался благодаря близости с первым президентом, когда того в годы чрезмерного фрондёрства турнули с партийного олимпа в главное строительное ведомство страны. Там-то Лёхин дядя, оказывается, и работал всегда не на последних должностях. С будущим первым президентом, а тогда задвинутым опальным партийным функционером он, как невятно докатывалось до меня, сошёлся без страха и упрёка, подставил, так сказать, плечо в трудную минуту. Будущий первый президент оценил отважного чиновника и воздал должное, когда воцарился в кремлёвских палатах. Потом, я слышал, Лёха Мальков попал в немилость к большому начальству, будучи напрямую замешанным в политической истории, точнее, как поговаривают, в её тайной, какой-то законспирированной части, когда его шеф-градоначальник попытался вскарабкаться на вершину российской власти. Дядя, говорят, был в ярости, орал на Лёху, что у того, мол, совсем отсутствует политическое чутьё, и заставил его от греха подальше убраться из Москвы. Так Лёха неожиданно снова появился в родном городе. На малой родине не пропал, быстренько открыл строительную фирму и весьма преуспел, слыл долларовым миллионером. Тут уж мы совсем перестали друг друга признавать. Сытый голодному не товарищ... И вот вдруг этот странный, неожиданный визит.

Лёха как ни в чём не бывало, будто мы расстались только вчера, предложил мне поддержать через прессу, — оказывается, он следил за моим “творчеством на культурном фронте”, — восстановление храма-часовни, поставленной более ста лет назад на месте сгоревшего древнего скита, основанного чуть ли не одним из учеников Сергия Радонежского.

— Так она же в запретке! — удивился я.

— В этом-то всё и дело, — отвечал Мальков, — тут через такие бюрократические чащобы пробираться надо, что без шумихи в СМИ не обойтись. А дело правое. Восстановим памятник архитектуры, откроем храм, где солдатики будут приобщаться, так сказать, Святым Тайн, — почему-то усмехнулся он.

— А кто будет заниматься непосредственно восстановлением? Денег потребуется немерено. Насколько я слышал, часовню эту уже давно сровняли с землёй.

— Я и буду заниматься, — пружинисто, как в юности, заходил-затанцевал вокруг меня Лёха. — У меня сейчас целая бригада мастеров, от скуки на все руки... и денег хватает. А то, что сровняли с землёй... Так мы уже провели предварительное обследование — фундамент целёхонький, даже подвальное помещение сохранилось, только землёй немного засыпано, почисть и воздвигай по новой. Главное, разрешение пробить. Поможешь?

Я замялся. Помочь благому начинанию — дело благородное. Но что-то смущало в напористости Лехи, в его какой-то агрессивной нахрапистости,

нарочито подчёркиваемой благотворительности. “Бизнесмен, — подумал я, — набрался наглости, везде пальцы веером...”

— А как удалось... обследовать часовню? — вдруг вынырнуло во мне. — И почему именно эта часовня?

— Да есть там... свои люди, — махнул рукой Лёха в сторону Заречья, — попросили... Ты что, сомневаешься?

— Не просто будет... — почему-то тянул с ответом я.

Золотой крестик часовни ещё до начала восьмидесятых влекуще поблёскивал на закате солнца в таинственных лесах Заречья. Картина с нашего высокого берега, где стоял родительский дом, пьянила меня с детства. Синеющие лесные дали и одинокая искорка блестящего золотом крестика как напоминание о какой-то иной, сказочной, истаявшей во времени России... Особенно остро переживалась невозвратность чего-то волшебного и прекрасного, когда свет крестика истончался, затухал в сумерках, а я, уже будучи подростком, возвращался в дом, включал настольную лампу и пристраивался в кресло с какими-нибудь “Поучениями Тихона Задонского”...

Я представил, что крестик засияет вновь, и неожиданно согласился.

— Ну, вот и славно, — заулыбался Мальков. — На традициях Россия держится. И мы никому не позволим их нарушать, — подмигнул он. — Ещё в историю войдёшь... Ну, в плане, — хмыкнул он, — что золотыми буквами твоё имя на доске попечителей типа информационных будет выгравировано, когда часовню открывать будем... Через пару деньков загляну, ты всё прикинь, поговорим детально. Кстати, — бросил он как бы мимоходом, когда уходил со двора, — берлога твоя на один бок заваливается. Надо бы фундамент подкачать, да и вообще подремонтировать родимое гнездо. Я пришлю молодцов.

На следующий день, снова не поздно и не рано, когда я, напившись чаю, принялся выкашивать траву в саду (мне не понравилось, как насмешливо заиграл глазами Лёха, когда возрился на лопухи и крапиву между деревьями), к дому подкатил тяжело гружённый “рафик”. Трое молодцов — иначе о них и не скажешь (вспомнилось словечко Малькова!) — в одинаковых жёлто-синих комбинезонах, одинаково рослые и крепкие, как из инкубатора, стали сноровисто и ловко заносить во двор мешки с цементом, упакованные в целлофан пластмассовые рейки, какие-то металлические заготовки, кирпич, инструменты.

Один, видимо, старший, в усах с проседью, поздоровавшись, деловито осведомился, из какой комнаты лучше вывести электричество на улицу.

— Вы кто? — опешил я.

— Нас прислал Алексей Константиныч, сказал, что надо укрепить у вас фундамент, выровнять дом, обшить сайдингом, пристроить веранду, сделать по ремонту, на что укажете, — чётко доложил Усатый.

— Да какое он имеет право, ваш Алексей Константиныч! — сорвался вдруг я. Мысль о грубом подкупе буквально взорвала меня.

— Как скажешь, хозяин! — буднично буркнул Усатый и стал тыкать пальцем в кнопки мобильного телефона.

— Ваш друг не понимает, зачем мы приехали, — сказал он в телефон и протянул трубку мне.

— Кирилл, — услышал я голос Лёхи, — ты чего там волну гонишь? Это не взятка, это дружеский жест, мне это ничего не стоит. А недельки за две мои архаровцы превратят твоё бунгало в приличное жильё. Тебе не стыдно так жить, столичный журналист?! Ты посмотри, что рядом с тобой деется, какие дворцы вдоль речки гоношат... Всё, всё! Какие, однако, мы ёжики! — с лёгкой, аккуратной насмешливостью увещевал он. — Через два дня я у тебя, думай, как будем часовню из праха поднимать.

Он отключился, я, остывая, пожал плечами и протянул телефон Усатому.

— Ух, какой у вас вид открывается, — сказал он, взглядываясь в Заречье, — красота... Хотите, мы беседу в саду поставим, будете сидеть, чаёк пошивать, любоваться... А если ещё бинокль прихватить! — Он мечтательно поцокал языком.

— Раньше смотреть в бинокль в ту сторону запрещали, — сказал я, — по крайней мере, негласно.

— Сейчас смотри, сколько влезет, — ответил Усатый, — только что увидишь? Там всё под землёй.

— Приходилось бывать?

— Нет, — на секунду замешкавшись, скупо бросил Усатый, — рассказывают... Ну, показывайте дом... Начнём с фундамента, с подвала, значит.

По массивным известняковым плитам, за столетия отполированным ногами до гладкости яичной скорлупы, по промятой временем в камне дорожке мы спустились в подвальное помещение. Под сводчатыми, красного кирпича потолками было просторно, гулко и сухо. Удивительно сухо и до странности свежо и не пыльно, словно гигантский компрессор днём и ночью работал по очистке воздуха в подвале. Я это ещё подростком заметил, когда по решению отца начал разгребать там вековой мусор. Я мечтал тогда создать музыкальную группу (по обвальнй моде тех лет брэнчал на гитаре, пел под Высоцкого, слушал затёртые записи "Битлов" на катушечном магнитофоне) и репетиции, а потом, возможно, и концерты проводить в подвале. И акустика прекрасная, и не мешаем никому, и человек до пятидесяти запросто могли вместить пространства под домом. Полгода, не меньше, я положил на расчистку подвала. Вот тогда-то и обнаружил под завалами разнокалиберного барахла вместительный деревянный ларь, забытый подшивками "Нового времени", "Речи", иллюстрированных приложений к "Ниве", томами Соловьёва, Мережковского, Бердяева, Розанова, Ницуса, Ницше, Шопенгауэра, сотнями тоненьких книжечек, народных изданий "Житий...". Эта находка потрясла меня. Отец преподавал историю в школе, и я уже кое-что понимал в книгах, и не только. Дома на полках стоял послевоенный Ключевский, Платонов, Сергей Соловьёв, разрозненные томики дореволюционного Карамзина... Отец пришёл в ярость, когда узнал, что я читаю в подвале. Но проведя самую тщательную ревизию находки, успокоился. Реквизировал только Ницше, Нилуса, Меньшикова и с десяток брошюр по национальному вопросу, он разрешил мне, как ни странно, читать всё остальное, не педагогически, правда, заметив, что, мол, мало что пойму, но для юношеского тщеславия, особенно если попаду в институт, будет весьма полезно. И за это вспоминаю я отца всегда с особенной теплотой и уважением. Царствие ему небесное! Понимал человека...

— Э, да тут не подвал, а целое бомбоубежище, ядерный взрыв можно пережить, — сказал Усатый, оглядывая стены, выложенные огромными, грубо тёсанными валунами, которые до сих пор в изобилии разбросаны по берегам нашей речки. — Давно владеете хоротами? — сделал он рукой полукруг над головой.

— Ещё дед купил в начале тридцатых, — отвечал я.

— А до вас тут кто жил, в смысле, когда поставили дом?

— Насколько знаю, дом принадлежал какому-то почтенному старому роду священников, Смирновы, кажется, была их фамилия... Они тут жили чуть ли не с семнадцатого века... и дом они построили.

— Вот я и смотрю, капитально, на века, сработано, — одобрительно хлопал ладонью по серым спинам валунов Усатый. — Интересно, — добавил он, мазнув в разных местах пальцами по стенам, — пыли совсем нет.

— Давно замечено, — сказал я. — Как вы думаете, почему?

— Тяга, очень хорошая тяга... Тут и нужна всего лишь тонкая струйка, но постоянная, — ответил Усатый, с особенным вниманием оглядывая помещение.

— Тяга? — удивился я. — Здесь нет ни одной вытяжки, кроме вечно закупоренного слухового окна.

— Возможно, секрет какой-то есть, старые мастера умели... — с деланным равнодушием, как мне показалось, пожал плечами Усатый. И неожиданно перевёл стрелки разговора: — Так, значит, Смирновы были, говорите, эти священники?

— По-моему, так. А что?

— Да так, ничего... Наверное, просто совпадение, — отвечал Усатый, извлекая из сумки, висевшей у него через плечо, уровень и прикладывая его к полу. — Ну вот, так я и думал, эта сторона к реке капитально просела...

Горка подмывается, тут, может, по крупице всего за год, а за три века дом всё-таки повело.

— И что делать?

— Надо бить шурфы под фундамент, жидкий бетон заливать...

— Не навредим? Как бы чего не стронуть... стоит себе и стоит, тронешь — развалится, — обеспокоился я.

— Не волнуйтесь, мы с этой стороны углы ещё поддомкратим и свод стальными швелерами укрепим... Сделаем, как надо. Ещё пятьсот лет хибара простоят.

После подвала осмотрели низенький цокольный этаж — подклеть, как говорили в старину, — наметили, от какой розетки через форточку будет выведено электричество на улицу, чтобы подключить циркулярку; по деревянной, в два пролёта, довольно крутой лестнице поднялись на второй, жилой этаж дома. Что-то меня царапнуло в разговоре с Усатым, и я напрягался — что?

— Неплохо жили эти священники Смирновы... даже по современным меркам, — сказал Усатый, когда мы после осмотра дома решили (жадность какая-то на дармовщинку всё-таки проснулась во мне) обить его изнутри вагонкой, снаружи обшить сайдингом и пустить вдоль цокольного этажа круговую веранду. И тут меня словно осенило:

— А о каком совпадении вы намекали?

— Да так, ерунда, — пробовал отмахнуться Усатый. — Я предлагаю светло-зелёный, почти салатный сайдинг... У вас тут всё в зелени, светло-зелёный хорошо впишется.

— Нет, и всё-таки? — клещом впился я.

— Ну, в общем, тут, — как бы нехотя сказал Усатый, — словом, в монастыре появился где-то месяца два-три назад новый старец... Нектарием зовут, говорят, из-за границы приехал, из Америки... и ещё он, якобы, здешний...

— И что? — ёкнуло у меня сердце.

— Да ничего! — усмехнулся Усатый, и как-то вкрадчиво добавил: — Слышал, как это у них, у монахов, говорят, что в миру он был Андрей Смирнов.

“Осведомлённый мастеровой”, — подумал я и, не скрывая любопытства, спросил:

— И сколько ему?

— Рассказывают, древний уже дедушка... под девяносто, — как-то испытующе посмотрел на меня Усатый и отвязанно-бодро спросил: — Так какой выбираем сайдинг? Мы привезли образцы — розовый, светло-зелёный, жёлтый... какой?

— Мы же договорились — светло-зелёный, — механически ответил я и подумал: зачем он мне всё это рассказал? Ведь явно с каким-то определённым смыслом он до меня всё это донёс.

Усатый с самым невозмутимым, в чём-то, впрочем, очень довольным выражением на лице отошёл к своим напарникам. К своему удовольствию (потому что терпеть не могу табачный дым) я заметил, что никто из них не курит. А один, когда мы осматривали дом, легко и играючи покрутился на турнике, сделанном ещё моим отцом между двумя липами перед крыльцом.

Посоветовавшись с коллегами и созвонившись, как я понял, с Мальковым, Усатый объявил мне, что они приступают к работе немедленно.

— Хозяин отвёл на всё про всё две недели. А работа в подвале... — скорчил кислую гримасу он, — аховая... Стены, думали, кирпичные, а они оказались из речных валунов. Попробуй, пробури их тут!

Может, и не надо начинать всю эту канитель, подумал было снова сказать я, но воздержался — время для отказа было упущено, ломакой выглядеть в глазах Лёхи и рабочих мне показалось не солидным. Все эти улыбочки, усмешечки, памятная Лёхина снисходительность — нет уж, увольте, будь что будет!

— Начинайте, коли так. А я пойду прогуляюсь. — Неожиданный план созрел у меня, и я почти в каком-то нетерпении заспешил со двора.

Между старыми яблонями, высаженными по тёплому, солнечному склону косогора, на котором стоял наш дом, по едва заметной тропинке, натеренной только мной, я спустился к реке, где меня поджидала на отмели лодка, привязанная цепью к вбитой в песок железной трубе. Летом, когда мне приходилось бывать здесь в отпуске, я брал себе за правило ежедневно ходить на вёслах по нашей тихой, всегда ласковой и светлой речке. С годами я начал, как и все люди, физически себя практически не утруждающие, грузнеть, заплывать жирком. Месяц упражнений на лодке выправлял меня, я начинал чувствовать себя попроворнее, появлялись мышцы, пропадали животик.

Невеликая речка наша имела причудливое название Богана. В просторечии её коротко звали Боганка. Почему её так называли? Думаю, из-за красоты и благолепия здешних мест. С высоких холмов по правому берегу, поросших золотыми мачтовыми соснами, открывались, как я уже говорил, волшебные дали безбрежного леса на левом, низком берегу реки. У многих здесь, думается, открывались сердца Богу. Не случайно лет семьсот назад на одном из таких холмов завёлся монастырёк, который разросся потом и снискал к середине позапрошлого века поистине всенародную любовь, превратившись, по выражению одного из отцов церкви, в “духовную санаторию многих израненных душ”. От города монастырь стоял километрах в трёх вниз по течению Боганки.

Вот до него-то я и решил неожиданно в тот день сплавиться на лодке. Вниз по течению моя небольшая дюралева лодочка, сработанная на заказ умельцами на одном из военных заводов ещё в советские времена, скользила как по маслу. Изредка днище с сухим шуршанием царапало о речной песок. Речка явно мелела. Но всё равно она была ещё в своих естественных берегах и кротко несла свои чистые струи, как и сотни лет назад, куда-то на юг, через малые и большие реки к синему морю. А вот прибрежный ландшафт менялся на глазах. Я давно не был в этой части Боганки (обычно для большей нагрузки на мышцы ходил против течения, в верховья реки) и поразился, как буйно облепили её красный, правый берег роскошные особняки, окружённые высокими заборами. Выхватывались лучшие куски: среди сосен, участок непременно до самой воды. Вспомнились рассказы о золотом дожде, обрушившемся на главу местной районной администрации — заполучить землю под строительство дачи здесь стоило недёшево.

Но вот река начала плавно уходить влево, выгнулась кудрявой от деревьев и кустарника зелёной дугой, затем снова взяла вправо, и на открывшемся полуострове разом выросли, как суровые витязи в чистом поле, сторожевые башни нашего прославленного монастыря.

Надо отдать должное стараниям и чувству красоты монастырских насельников. Крутой склон холма, на котором осанисто и живописно расположились храмы и постройки монастыря, со стороны реки был чисто, как под бритву, выкошен. Вверх к монастырским стенам вела тропинка-лестенка, выложенная недорогой, но прочной плиткой. Солнце клонилось уже к западу, и на теневой, восточной стороне холма короткая отава отливала сочным, изумрудным блеском. Чистоту, благость и покой разливало святое место вокруг себя...

Сторож, молодой инок с редкой, просвечивающей бородкой учтиво предупредил меня на входе, что до закрытия монастыря осталось полчаса. Я справился, как мне отыскать старца Нектария. Выяснилось, что старца сегодня нет, он в отъезде.

— В Москву отбыл, — сказал монашек, внимательно заглядывая мне в глаза. И не без некоторой гордости, словно на что-то решившись, добавил: — К Его Святейшеству уехал... будет дня через три.

Я поблагодарил и испросил разрешение погулять по монастырскому двору. “Однако старец этот непростой, если его принимает Патриарх”, — думал я, прогуливаясь среди отцветающих розовых кустов, обильно высаженных по всему периметру монастыря. “И это хорошо, что сегодня мы не встретились, это добрый знак, иначе как бы я объяснил желание встретиться с ним? Тем только, что меня распирало любопытство узнать, не из наших ли он Смирновых? Но это же глупо и наивно. Значит, не время...” — толкалось в голове. Колокол пробил к вечерне, я поспешил к выходу.

У монастырских ворот, прощаясь со сторожем, почему-то сунул тому в руку как-то помимо своей воли визитную карточку с просьбой передать старцу.

— Не извольте беспокоиться, всё будет исполнено, — словно из девятнадцатого века ответил в поклоне монашек, коротко взглянув на визитку.

Через два дня, как и договаривались, меня вновь посетил Лёха Мальков. На сей раз он приехал к вечеру, был чем-то сильно озабочен и, едва поздоровавшись, в каком-то нетерпении предложил осмотреть “фронт работ”. Меня это озадачило, я ожидал, что речь, прежде всего, пойдёт о часовне. Но Лёха так и рвался в подвал.

А там шёл дым коромыслом. Рабочие в респираторах орудовали отбойными молотками, шуршала и чмокала серым месивом в своей круглой утробе бетономешалка, нестерпимо ярко высвечивала тёмные углы подвала электро-сварка. Лёха, сопровождаемый Усатым, нервно заходил вдоль стен, как-то особенно внимательно разглядывая и изредка колуная пальцем швы между серыми глыбами валунов. У одного, овальной формы и чуть ли не в рост человека, он на мгновение задержался и бросил быстрый, незаметный взгляд на Усатого. Тот практически неуловимым движением головы, только глазами, утвердительно кивнул.

— Какой великан, матёрый человечиче, — с особенной лаской погладил камень Лёха, — скольких трудов стоило обтесать тебя, приладить сюда! Ты представляешь, Кирилл, — сразу повеселев, обратился он ко мне, — точно такими же валунами обложен подвал разрушенной часовни. О чём это говорит? — сказал он, как-то странно разулыбавшись в сторону Усатого. Тот напряжённо замер. — А о том, что наши предки умели пользоваться подручным, местным материалом, не то что мы — всё тянем из-за границы, — с нарочитой назидательностью закончил Лёха. Усатый, показалося, выдохнул. — Ну, как твой план по раскрутке проекта, готов? — бодро спросил меня Лёха.

— Пойдём, потолкуем, — кивнул я наверх.

— Минуту, — сказал Лёха, словно спохватившись, — на какую глубину бьём шурфы, цемента хватает? — задал он вопрос Усатому.

— Глубины разные, в среднем до полутора-двух метров, — отвечал тот, со значением разглядывая на Малькова, — бетон, крепёж не жалеем.

— Не затыгивайте, у вас две недели, не больше... впереди гособъект, — многозначительно бросил Усатому Лёха уже с подвальных ступенек.

— Пойдём на вал, прогуляемся... молодость вспомним, — неожиданно предложил он, когда мы вышли во двор.

— Хорошая идея, — согласился я.

— Только ты мобильник дома оставь, — усмехнувшись, сказал Лёха.

— Там кроме земляных, ни одного жучка, — подхватил я.

Лёха одобритительно хмыкнул и выпятил свою внушительную нижнюю челюсть:

— Всё помнишь...

Странная, какая-то разнеженная, тёплая доверительность долго не покидала нас в ту более чем двухчасовую прогулку по древнему валу, старому городу, памятным местам детства и юности. Мальков с удовольствием рассказывал о себе, двух уже взрослых дочках, оставшихся в Москве, расспрашивал меня о моей жизни. О политике (что меня, признаюсь, насторожило) речь не заходила. Только один раз, коснувшись неудачной попытки вхождения в верховную власть его бывшего шефа, у него вырвалось что-то похожее на “реванш ещё будет”, но он быстро поправился и ловко перевёл разговор на что-то другое. Суждения его были умны и взвешенны, даже острожны. От юношеского радикализма, казалось, и следа не осталось. Изменился сильно Лёха и внешне. Встречаются люди, о которых говорят, что их жизнь не берёт. Они узнаваемы и в тридцать, и в пятьдесят, естественно, с поправкой либо на усыхание, либо на прибавление в фигуре. Таких при встрече почему-то хочется радостно обнять и расцеловать. “Вот, думаешь, этот прожил светло и праведно, и лик его не тронули “свинцовые мерзости

жизни”. О Малькове, с его лицом, можно было сказать, что его жизнь буквально переформатировала. Такая во всём его облике, на челе появилась угрюмоватость и решительная непроницаемость, что при встрече с ним, я думаю, многие, наверное, начинали испытывать беспричинное беспокойство и даже, может быть, страх. К тому же он решительно раздался в плечах, как-то весь заматерел, обрюзг. Коротко стриженный, с этой своей чрезмерно развитой нижней челюстью, Лёха чем-то напоминал известных субъектов из “лихих девяностых”, не хватало только спортивных штанов и кожаной куртки. Словом, я бы его не сразу признал, встретив случайно на улице. Хотя, быть может, по глазам... По этим странным, цвета ястребиного оперенья глазам, по-прежнему смотревшими с какой-то острой нагловатинкой, я бы его всё-таки вспомнил. От прежнего Лёхи Малькова остались неизменными только пружинистость и ловкость в движениях, и, как мне показалось, сила и выносливость. По крайней мере, сколько я ни прислушивался к Лёхиному дыханию, когда мы карабкались на вал, я не услышал тех глубоких одышливых вздохов, которым даже при незначительных физических нагрузках было подвержено уже большинство моих сверстников.

Мальков в целом одобрил мои предложения по раскрутке идеи восстановления часовни. Ему пришло в голову мысль, что должны быть задействованы все уровни информационной машины — от нашей районной “Зорьки” (к слову, после падения советской власти “Зарю коммунизма”, словно прислушавшись, наконец, к народной традиции всё сокращать и спрямлять, безжалостно усекли до “Зари”) до ряда центральных или, как теперь говорят, федеральных, изданий. После более чем тридцатилетней практики у меня, что называется, везде были свои люди. Лёха, надо отдать ему должное, проявил довольно тонкие познания особенностей так называемого медиа-рынка. Два или три предложения он решительно отверг по идеологическим соображениям. Публикация, например, в оппозиционной “Свежей газете”, по его словам, могла вызвать негативную реакцию в “главной администрации, а дальше по всей цепочке до Минобороны и Патриархии”; заметка в консервативном “Полдне” могла насторожить чутких либералов в правительственных кругах. Остановились на ряде солидных нейтралитов. “И ещё, — насмешливо (не утерпел-таки) посмотрел на меня Лёха, — можешь смело обещать, статейки будут не за так”, — он обозначил в довольно приличных суммах вознаграждение в зависимости от объёма публикации — и здесь он знал толк! — за “писательский” труд. Как-то особенно Лёху заинтересовала, я бы даже сказал — взволновала мысль привлечь к процессу начальника пресс-службы одной из палат парламента, моего давнего приятеля Мишу Васильева.

— И давно ты его знаешь? — так и засверлил меня глазами Лёха.

Я отвечал, что ещё со студенческой скамьи.

— Интересно, очень интересно, — по-боксерски пружинисто заходил, затанцевал (что означало, как я ещё с юности заметил, высшую степень заинтересованности) вокруг меня Лёха. — И что, он... близок к спикеру?

— Не знаю, — насторожился я, — знаю, папку с пресс-релизами носит своему шефу каждое утро. А что?

— Отлично, — пропустил мимо ушей мой вопрос Лёха и умело сбавил обороты: — “Шеф” может и наше письмо в Минобороны, так сказать, подписать... Не подпишет — так даст поручение профильному комитету. Отлично, — уже как-то задумчиво повторил он, — а я-то всё думал, как покруче зайти на вояк... Слушай, старик, — рассеянно и отстранённо сказал он (чувствовалось, какая-то сильная мысль овладела им), — а ты не можешь его, ну, этого, своего приятеля, пригласить сюда? Шашлык, рыбалка, охота — всё организуем!

— Почему бы и нет, — пожал плечами я. Меня напрягло странное волнение Лёхи. — А что военные? Почему они сами не хлопочут? — неожиданно вырвалось у меня.

— Хлопочут, хлопочут, — поморщился Лёха, — но там надо получить столько допусков, что без возгонки общественного мнения вряд ли что получится.

— Но и всё же, может быть, нам встретиться с командиром части, объединить усилия? — не унимался я.

— Да с ним уже всё проговорено... Но ему просто некогда заниматься этим делом и не до встреч с нами, — заелозил Лёха.

— А что он за человек? Нет, всё-таки неплохо бы лично с ним познакомиться, — продолжал гнуть я свою линию.

— Ты это серьёзно? — надулся вдруг Лёха и посмотрел на меня, как на маленького. — Он практически засекреченный, на встречу с ним требуется специальное разрешение. Кто тебе его даст?! Ты по наркоматам замучаешься бегать!

— Но ведь тебе-то как-то удалось... если “всё проговорено”, — подловил я Лёху.

— Случайно, тут особый случай, — попытался отмахнуться Лёха, — об этом как-нибудь потом...

— Случайно? Какая-то здесь невяница... От кого исходит инициатива восстановить часовню? — решительно надавил я на Лёху.

— От вояк, естественно, от вояк, — начал злиться, сдерживая себя, Лёха. — Ну, что ты пристал? Какая теперь разница, тут дело надо делать!

Я решил не портить встречу и отстал с расспросами. На этом мы в тот вечер и расстались.

2

На следующий день я заставил себя встать пораньше, где-то около восьми. Ещё с вечера наметил прозвониться наиболее доверенным московским писакам, связаться с Мишей Васильевым (с утра их ещё можно было всех застать на работе) и, если позволит время и обстоятельства, забежать потом в нашу “Зорьку”. Впрочем, поспать бы мне всё равно не дали: у дома уже споровисто орудовали, перетаскивая из машины мешки с цементом, трое моих ремонтников. “Сколько же они бетона вбухивают в подвал, — отметил я, наблюдая за их чёткими, ритмичными движениями со своего второго этажа, — а как деликатно и бережно обращаются с мешками... Лёха, похоже, суровый хозяин, вышколил работяг”.

Но вот у меня дело с утра не задавалось: большинство конфидентов были либо в отпусках, либо чрезмерно перегреты уже спозаранку работой и слушать не желали про какую-то часовню. С ними, похоже, предстояло поработать индивидуально. А это означало ехать в Москву, окунаться в московскую суету, встречаться, перетирать, вышивать... Я же за лето в родном городке привыкал к вольности, неторопливой размеренности и, как это ни покажется странным, трезвому образу жизни... Пить тут было просто не с кем. И это меня несказанно радовало... Зато повезло мне с Мишей Васильевым. Он был на месте и откликнулся на мой звонок (видимо, посещение с утренними пресс-релизами своего влиятельного шефа было гладким и бесконфликтным) весьма приветливо, можно сказать, даже тепло. Надо отдать Мише должное: взлетев по карьерной лестнице достаточно высоко, он не прерывал дружбы с однокурсниками, не заносился, более того, всегда был отзывчив и участлив хотя бы на словах. Впрочем, не только на словах. Меня он даже как-то включил в журналистский пул, и я за так слетал с его начальником в Киргизию. Сам же Миша предпочитал только дальнее зарубежье. К такому сладкому пирогу Миша подпускал только избранных, тех, кто был ему в чём-то так или иначе полезен. Но мы, все те, кто остался по жизни без чинов и регалий, на него не обижались. Он был прагматиком. Всегда. В отличие от нас, мечтающих о журналистской славе и ринувшихся завоевывать центральные, непременно только центральные издания, Миша нырнул, как все мы дружно решили, в унылый отстойник пресс-службы министерства торговли. А вынырнул, однако, через несколько лет уже во “Внешторге”. Потом он надолго растворился где-то за границей. Затем его видели снова в Москве на собственной роскошной иномарке, что по советским временам было чем-то фантастически прекрасным и недостижимым и что стало предметом долгих пересудов между нами, бывшими сокурсниками.

Тогда и прошёл слухок, что Миша дружит с известной конторой и что дружба эта, начавшаяся чуть ли не со студенческой скамьи, даёт теперь реальные плоды. Не знаю, что там было у Миши с этой конторой, но я в это не верил. Вспоминая наши буйные студенческие сходки в общежитии, где проживал я, неизменным участником которых был всегда москвич Миша Васильев, я часто думал потом, как это нам всё безнаказанно сходило с рук? Под обильное пиво с селёдкой и горячей картошечкой, да с чёрным свежим хлебушком (сытно, пьяно и по студенческому карману) говорилось иногда такое, рассказывались политические анекдоты такие, что нас можно было смело заметить за антисоветизм и подрыв всяческих устоев. Но нас никто не трогал, и мы шалили, точнее, шалели от юношеского максимализма, агрессивного везнаиства и состязательности в остроумии. Вот тут-то и был востребован ларь из подвала родного дома, точнее, его содержимое. Я блистал цитатами из Розанова и Мережковского и с особой теплотой вспоминал отца с его словами об интеллектуальном удовлетворении в соответствующей, располагающей среде... Миша тоже отрывался на наших посиделках по полной. Он завоевал почётное место большого знатока западноевропейской философии. Часто восседал за стаканом с пивом с синеньким томиком Камю, изданным тогда каким-то невероятным образом у нас, или тайно и извлекал из портфеля со сломанным замком (который он поэтому всегда носил под мышкой) перепечатанный на машинке, полуподпольно переплетённый в дерматиновые обложки философский "тамиздат". Так что Миша был, что называется, *свой в доску*. Не доверять ему не было причин. Только один раз, когда речь зашла о тридцать седьмом и выяснилось, что в нашей компании были далеко не только у меня пострадавшие, Миша вдруг обронил (я так понимаю, несдержанно воспламенившись желанием состричь) странную фразу: "Ваши деды сидели, а мои охраняли". Признаться, я до сих пор не ведаю, кто у Миши были родители. На курсе все знали, что он сирота, живёт с братом близнецом, который учится в военном училище. Да и сам Миша был, кажется, из суворовцев. Вспоминаю, точно, на первом курсе он цеголял в чёрной гимнастёрке суворовского училища. Кто, какая система охраняла тех, кто оказался по ту сторону колючей проволоки, я уже вполне понимал, даже будучи желторотым студентом. Так что неудачная Мишина шутка (пусть будет так!) наводила меня на определённые размышления... Система эта, таинственная и вязкая, часто и детей, и внуков не впрямую, так косвенно цепляет. Но это всё, как говорится, плод воспалённого воображения. Поводов сомневаться в искренности и порядочности Миши Васильева у меня по жизни не было.

В постсоветский период Миша был замечен уже в мидовских структурах. А затем плавно перетёк в парламент, когда место председателя одной из палат занял человек, близкий к министру иностранных дел. Рассказывали, что Васильев особенно не разбогател, но был, как говорили, и не бедный человек. Я вспомнил об этом, когда во время нашего телефонного разговора Миша как бы невзначай обронил, что сам собирался мне позвонить.

— Хочешь предложить в Париж с твоим шефом слетать? — пошутил я.

— "Париж, что же ты молчишь..." — пропел в ответ Миша. — Нет, вообще прозаичнее... и сложнее, чем просто слетать в Париж... В общем, я слышал, что у вас там места по красоте не уступят любой Европе...

— Есть такое, — отвечал я, почему-то сразу раскусив, куда клонит Миша, — поэтому москвич так и прёт, так и прёт.

— Я всегда говорил, что ты у нас на курсе самый сообразительный, — подхватил шутливый тон Миша, — и почему ты всё в корреспондентах бегаешь?

— Поместыцем обзавестись вознамерился? — оставил я без ответа Мишину шпильку — мне было важно заарканить его как можно быстрее. Я уже чувствовал свою ответственность перед Лёхой и затеянным делом. Моя добросовестность мне всегда вредила.

— В корень зришь... Надоело на десяти сотках, окружённым заборами и чуткими соседями, где даже пукнуть громко нельзя, — начал паясничать Миша. — Хочется раздолья, живописных далей... хочется старость встретить

в просторном обустроенном доме с участком в полгектара, на нетронутой природе... но и близко к цивилизации.

— Приезжай, пока тут всё не расхватали, — грубо закинул крючок я.

— Расхватывают? И почём? — живо отреагировал Миша.

С оговоркой, что слышал это от своего приятеля, местного строителя (имелся в виду Мальков), я назвал стоимость сотки земли на нашем правом берегу среди сосен.

— Круто, — сказал Миша раздумчиво. Я услышал, как он забарабанил по кнопкам калькулятора и, судя по последовавшему вопросу: — А что это за строитель? Профессиональный? — решил, что потянет. Похоже, деньжата у Миши действительно водились.

— Профессиональнее не бывает, — как можно убедительнее отвечал я, — с высшим московским специальным образованием... Владелец серьёзной строительной фирмы. Он, к слову, берётся за восстановление храма-часовни.

— А вот это уже интересно, — заглотив, как мне показалось, наживку прагматик Миша. — С часовней, я думаю, всё решаемо... Реставрация храма, традиции — шеф любит такие вещи... — скороговоркой проговорил он, — впрочем, детали при встрече... надеюсь, — выделил он голосом, — с участием твоего чудо-девелопера.

Договорились, что Миша будет у меня уже в ближайшую субботу.

А день-то всё-таки начинался удачно. Я не утерпел и похвастался по мобильному Лёхе.

— Кирилл, ты гений! — закричал он в трубку. — Если б ты знал, что ты совершил, если б ты знал!.. Сегодня у нас что? Среда? Ещё два дня... Надо срочно пересечься, обмозговать, как будем встречать дорогого гостя. Ну, ты орёл, ну, ты даёшь! Через двадцать минут я у тебя.

Пришлось соврать Лёхе, что я уже вышел из дома на встречу с Никаноровым в “Зорьке”.

— Привет ему, давно не виделись... Говорят, в последнее время циклопическими идеями ворочает, старый фурьерист, — не скрывая иронии, сказал Лёха и предложил увидеться завтра с утра пораньше. На том и порешили.

Взбодрённый удачей с Мишей Васильевым, я сделал несколько звонков по второму кругу в московские редакции. И вот, что называется, пошло так пошло. Везде я оказывался к месту и ко времени. То ли солидное вознаграждение, обещанное Лёхой, то ли правильно подобранные слова, которые производил я, но все мои соотарищи, заматеревшие на “джинсы”, выказали вдруг самый горячий интерес к восстановлению какой-то неведомой им часовни. Каждому обещано было выслать уже к вечеру необходимые исходники и каждый обещал протолкнуть материал на полосу без предоплаты. Такое бывало редко. И боясь спугнуть удачу, я решительно засобирался к Никанорову в “Зорьку”.

Я не стал ему даже предварительно звонить, настолько почему-то был уверен, что застаю старика на рабочем месте. Свои первые заметки по истории города о затейливых окрестных топонимах, всякого рода любопытных персонах, заплетённых в историю края (скажем, о Грозном царе, любившем якобы рубить головы опальным боярам в нашем городке; отсюда и название), о чём мне частично рассказывал отец, что я частично вылавливал самостоятельно в тех же книжках и брошюрах из подвального ларя, я начал приносить, ещё будучи школьником, в “Зорьку”, в отдел культуры, который в ту пору возглавлял Феодосий Никаноров. Уже тогда казалось, что он днюет и ночует в своём захламлённом, плохо проветриваемом, с детский кулачок кабинетике. Меня он как-то сразу приветил, взял под личную опеку, всячески поощряя к газетному делу. Ну, а когда я пробился в центральные издания, гордился как своим учеником. Мне это не раз передавали. А почему бы и нет? По крайней мере, выстраивать материал, находить точное слово, править — первые азы этой довольно специфической механики мне преподавал Феодосий Павлович Никаноров. До меня доходили слухи, что в браке он был неудачлив, с сыном у него тоже отношения не сложились. Был он, судя по всему, очень одинок и со странностями. Рассказывают, разработал теорию

удлинения суток, в результате чего спал то ли по три часа в сутки, то ли совсем не спал по трое суток, выкраивая какие-то стыковые паузы для сна по тридцать минут каждые восемь часов... Словом, что-то в этом роде он изобретал и экспериментировал на себе. И в общем производил впечатление смешного чудака. А между тем, человек он был весьма неординарный. Интеллектуал, всезнайка, читал пропасть всякой литературы, неплохо рисовал, фотографировал, увлекался театром, говорили, пишет роман. Впрочем, о писательской славе, как я теперь понимаю, мечтал, наверное, каждый второй сотрудник “Зорьки”. И каждый второй, догадываюсь, что-то писал эпохальное в стол. Никаноров был по-своему слишком умён и проницателен, чтобы опуститься до банальных признаний, что он пишет эдакое... Какие могут родиться писатели в незатейливо строчкогонной районке! Видимо, поэтому ревнивые сослуживцы и Феодосия Павловича решили тоже “замарать” “писательством”. Впрочем, может быть, и действительно что-то писал. Он, помнится, иногда озадачивал меня, подростка, отвлечёнными и какими-то невнятно-затуманенными размышлениями о новом методе написания современного романа, о “синтезе образа и мысли”, как он говорил, напуская на себя смешную важность и солидность разработчика и носителя гениальной идеи, ещё не оценённой человечеством. Но литературных трудов его в руках я не держал, поэтому ничего определённого тут сказать не могу. А вот то, что дано ему было передавать красками краски мира на холсте, знаю воочию. Одна очень недурная работа, сделанная маслом, — пейзаж с чудным видом нашего древнего монастыря — у меня до сих пор висит в моей московской квартире. И театром он увлекался всерьёз. Иначе какого чудака заставишь отправиться на спектакль в Москву на электричке (два с половиной часа в один конец), чтобы на электричке же и вернуться глубоко за полночь домой в Свободяжск. Чтобы ездить нашими ночными электричками, надо обладать подготовкой и бесстрашием спецназовца. Или любить театр, как Никаноров. Зато “утончённо рафинированные” и сплошь “интеллигентные” свободяжцы уже через день могли насладиться развёрнутой рецензией на премьеру в каком-нибудь модном столичном театре. “Кому это надо здесь?” — не удержавшись, спросил я как-то Феодосия Павловича. “Никому, кроме меня, и, может быть, тещу себя надеждой, какой-нибудь молоденькой восторженной дурочки, мечтающей о славе на театральных подмостках”. “Тогда зачем всё это вам?” — недоумевал я. “Театр — это два часа особого забвения, — неожиданно самым серьёзным тоном сказал тогда мне, всего лишь старшекласснику, Никаноров, — а оно так иногда необходимо человеку... Театр — это мистерия, ступок энергий перевоплощения. А отсюда театр — это особое, волшебное зеркало”. “И что показывает это зеркало?” — спросил я. “Показывает, что начался тонкий демонтаж...” — улыбнулся Никаноров. “Демонтаж чего?” — “Всего!” — помнится, грустно сказал тогда мой старший товарищ. Этот разговор состоялся в самом начале перестройки... Смешной-то он смешной, и чудака, конечно, Феодосий Павлович, но было в нём что-то такое, что всегда заставляло уважать и даже чтить старика.

Позже, когда я уехал учиться, да и когда уже работал, мне случалось изредка встречаться с Феодосием Павловичем, но это бывало уже у него дома, в угрюмоватой, донельзя запущенной однушке старого холостяка, где, кроме книг на стеллажах до потолка, стояли ещё кровать с белыми никелированными дужками, письменный стол, расшатанный “венский” стул и два засаленных, продавленных кресла, — настоящей норе спартамца-отшельника. Встречи эти носили характер мимолётный, случайный. Так, когда приходила нечаянно мысль по приезде домой справиться о его житье-бытье по телефону, он с неизменной приветливостью отвечал приглашением “проведать старика”. И я проводывал. Иногда заглядывал и он ко мне в Москве, чаще по необходимости, когда отменяли после театра ночные электрички на Свободяжск, и старший друг езезжал переночевать. Любовь к театру у Феодосия Павловича с годами не ослабевала. Правда, без прежней взаимности, ибо билеты в храм Мельпомены становились всё дороже и неподъёмнее для постсоветского интеллигента. И посещение столицы Никаноровым, а значит, и наши встречи случались всё реже и реже.

Так что не виделось мы с Феодосием Павловичем, прикидывал я по дороге в редакцию, года полтора-два, не меньше. А между тем до меня доходило, что в старости он пошёл по карьерной лестнице вверх, стал ответственным секретарём “Зорьки”. Видно, с молодыми и профессиональными кадрами в газетке было совсем плохо.

Редакция оказалась на старом месте — также занимала ладный, в шесть окон спереди, с крыльцом чугунного литья купеческий особнячок в глубине дворов старой части города, минутах в десяти ходьбы от центральной площади. Всё, казалось, было здесь, как и прежде, но, увы, уже с изрядной поправкой на сломное постсоветское время... В просторном, с дубовым паркетом коридоре не сновали с гранками озабоченные, задушенные табачным дымом уездные трудяги-бумагомаратели, не раздавался грозный рык споткнувшегося на досадной ошибке редактора, не стучали машинки, не мучился в творческом пароксизме, нервно расхаживая из угла в угол, “наговаривая” сто мучительных строк в номер, *юноша бледный со взором горящим*... Редакции на прежнем месте не было. Нет, она была, но она была перенесена в небольшой закуток в самом конце коридора. Пробраться теперь в редакцию приходилось среди многочисленных вывесок, выгородок и пластмассовых закутков, напоминающих душевые кабинки, откуда из-за приспущенных жалюзи с вызовом и тоской смотрели на мир в плохом неоновом освещении худосочно-зелёные, как долларовые бумажки, многочисленные, как-то рано увядшие коммерсанты и менеджеры. Миновал “Ксерокс”, “Фото”, “Турагентство”, “Юридические услуги”, “Дипломы. Аттестаты. Трудовые книжки”, “Страхование авто”, “Ремонт ноутбуков”, я остановился перед железной решёткой, отделяющей редакцию, надо полагать, от беспокойно-агрессивного внешнего мира. Нажав кнопку звонка на панели кодового замка, дождался появления опрятной, вполне ещё бодрой старушки, отомкнувшей пластиковой картой изнутри железную дверцу и без лишних вопросов проводившей меня к Феодосию Павловичу.

На сей раз, хотя и не виделась мы изрядно, Никаноров встретил меня сдержанно, я бы даже сказал, мрачновато-неприветливо. “Обиделся, капризничает...” — подумал я. Да, виноват, уж что-то, а позвонить всегда ведь можно. Мне стало неловко.

— Сижу весь в решётках, в темнице сырой, — попытался пошутить я, оглядывая комнату Никанорова с решётками на окнах.

— Не говори, — раздражённо отвечал Феодосий Павлович, — арендатор пошёл вороватый, кого тут только нет... Приходится... как-то надо выживать.

— А родная администрация? Вы же, кажется, говоря по-советски, её орган? — спросил я, отметив про себя, что Никаноров с нашей последней встречи заметно постарел, подсух как-то, лицом и в плечах заострился. “Уж не болен ли? — подумал я. — Поэтому и раздражительный”.

— Администрация? — скривился Феодосий Павлович. — Администрация бдит... сторожит каждое слово... Такой цензуры даже при коммунистах не было. А за лояльность вознаграждает щедро — денег в казне много, не скупишься. Сам видишь, — саркастически хмыкнул он. — Ты что, в отпуске? — спросил он уже потеплевшим голосом. Обижаться на меня, я это всегда чувствовал, он долго не мог. — Какими судьбами в наши палестины?

Я кратко изложил суть предложения Малькова. Феодосий Павлович задумчиво, опустив голову, чиркал что-то ручкой на бумаге. Было видно, что он совсем оплешивел и неопрятно зарос по вискам и с затылка длинными седыми волосами.

— Странно, — сказал он после долгой паузы, — странно, что Мальков затевает такую шумную кампанию вокруг этой часовни... Дело выведенного яйца не стоит.

Я тоже выразил недоумение и развёл руками.

— Что-то я тут до конца не понимаю, — снова повторил Феодосий Павлович, — ведь воинской части достаточно заручиться разрешением своего непосредственного начальства, чтобы без шума и пыли поднять из праха часовню. Но тут зачем-то лезет, очень нахраписто, как подрядчик-благотворитель Лёша Мальков. С чего бы это?

— Видимо, ему хочется придать всему этому действию характер общественной инициативы, засветиться как щедрому меценату и филантропу, не жалеющему денег на возрождение поруганного богоборческой властью, — стал размышлять я. — Может, он в депутаты баллотироваться хочет!

— Может, и в депутаты... — передёрнул худенькими плечиками Никаноров. — Лёша Мальков просто так ничего не делает, очень жёсткий купец окупился. Мы его как-то года два назад ремонт подрыжали сделать в редакции... Трубы, сантехнику, рамы поменять — всё сгнило. Так он нас до нитки раздел... Выжига! И вообще, с ним надо, что-то мне подсказывает, ухо остро держать. По-моему, он какой-то неуёмный честолюбец... Ощущение иногда такое, что на грани стоит...

Что-то меня — малодушие что ли? — остановило признаться, что Лёша делает у меня дома ремонт... бесплатно. Потом я пожалел, что не рассказал об этом парадоксе Феодосию Павловичу. Может быть, старый интуитивист усмотрел бы что-нибудь дельное, упреждающее. Но я не решился.

Никаноров тогда, помнится, внимательно посмотрел на меня. Моё замешательство, видимо, не осталось незамеченным, но он расценил его по-своему.

— Ну, хорошо, я понимаю, ты обещал... Ради тебя я напишу об этой часовне... В принципе-то дело, за вычетом явно каких-то шкурных интересов Малькова, стоящее, полезное... — сказал он, как бы успокаивая меня и себя, и предложил прогуляться, а заодно и пообедать где-нибудь в городе.

— И сколько вас тут осталось, бедолаг? — снова попытался пошутить я на выходе из редакции. Всё-таки какой-то удручённый, заморенный вид Феодосия Павловича мне определённо не нравился.

— Вот именно — бедолаг, — усмехнулся Никаноров. — Редактор, я, двое, вернее, две пишущих — одна из библиотеки пришла, вторая из школы... Сам понимаешь, какой уровень, верстальщик да Анна Семёновна — она тебе дверь открывала, божий одуванчик, — бухгалтер и секретарша в одном лице... Вот и вся редакция.

— Могучая кучка... И что, даже эти шесть ртов не может достойно прокормить местная администрация?

— Всё она может, — уныло протянул Феодосий Павлович, — тут только на один праздник города уходит два наших годовых бюджета!

— Понимаю, с вами безоткатный вариант, а праздник города весело и незатейливо на шестьдесят процентов возвращается в карманы чиновников.

— Правильно всё понимаешь, — снова тускло отозвался Никаноров.

— У вас какие-то проблемы? Может, помощь нужна? — осторожно спросил я.

Никаноров испытующе посмотрел на меня. Тонкая усмешливость засветилась на его исхудавшем, морщинисто-подсохшем личике.

— Помощь нужна... Ты посмотри, какой разор и запустение вокруг! — неожиданно резко заговорил он. — Вот это ещё советский асфальт, — пошлёпал мой друг подошвой башмака по дорожке, — за двадцать пять лет новой власти он превратился в крошево. И так по всему городу... И заметь, новый власть никто не собирает. А эти погнутые и узлом завязанные детские качели — это же какую дурную силушку надо иметь, чтобы с ними так расправиться! А эти страшные, дикие мусорные баки, которые вывозятся раз в месяц... Этот бурьян и лопухи, эти кривые, сгнившие перекладки, на которых ещё советский обыватель выбивал ковры! Такого одичания — я уже семьдесят пять лет живу в этом городе! — никогда не было!

“Неужели это его так гнетёт?” — виноват, недоверчиво подумал я.

— Европейской чистотой и ухоженностью наш городок никогда не отличался.

— Согласен, до Европы нам было всегда далеко, — горячо подхватил Феодосий Павлович, — но была тенденция, тенденция на улучшение. Каждый год — я бывал на всех этих сессиях горисполкома, цифры хорошо помню! — прибавлялось число заасфальтированных улиц, организовывались конкурсы на самый чистый и ухоженный двор, в кой-то веки цветы и клумбы появлялись у подъездов... Да, медленно, да, по-советски неказисто,

но что-то делалось, чтобы оторвать человека от его привычного бытового свинства. Сейчас — ноль! Никаких, даже малейших намёков, поползновений на улучшение вот этой общей атмосферы бытия, которая во многом, очень во многом — надо же понять, наконец, в нашей России! — отвращает человека от его животных наклонностей. Понимаешь, о чём я?!

— Ну, поправится всё со временем, и асфальт положат, и цветники разобьют, — намеренно сделал я вид, что не понимаю, о чём говорит Феодосий Павлович. Мне хотелось понять причину, суть, что так зацепило старика.

— По большому счёту, я не об этом, — рассеянно посмотрел в мою сторону Феодосий Павлович своими странно неподвижными, всегда как бы смотрящими в какую-то свою, особую точку, серыми, слегка замутнёнными, словно в них шли непрерывные дожди, глазами. — Ну, посадят или снимут мелкого воришку Крошкина...

— А это кто? — не сразу понял я.

— Ну, здарсьте, дожили! Впрочем, мы здесь больше наездами, судьба аборигенов нам не интересна, мы же теперь в столицах воспарили, — не удержался, подпустил мстительного ядку Никаноров. — Это, батенька мой, — однако, ну и журналист пошёл! — глава нашей районной администрации... Редкостный, должен заметить, жулик и прохиндей... У него семь квартир только в Москве на родственников записано, трёхэтажная дача тут недалеко, землёй торгует направо и налево, внуку, слышал, на пятилетие скакуна породистого подарил... Но я не об этом, рано или поздно этого Крошкина скovyрнут, или бандиты убьют... Придёт новый, может, поначалу воровать будет меньше, тогда глядишь, как ты говоришь, и асфальтик свеженький кое-где кинут, и цветничок разобьют... Но я о другом...

Феодосий Павлович замолчал, поглядывая насмешливо и с вызовом на меня.

— Да знаю я, кто тут местный главный, просто не сразу дошло. Кажется, этот Крошкин уже лет пятнадцать здесь хозяйничает? — не дал зависнуть паузе я. Мне показалось удобным именно сейчас разговаривать Феодосия Павловича.

— Да побольше, почти двадцать годков он тут у кормушки, — сердито заёрзал молнией на своей заношенной, на вид довольно тёплой куртке Никаноров. Погода в тот день не баловала. Лето было на исходе. Дул холодный северный ветер. — Ещё при советской власти дорос до заместителя председателя райисполкома, при демократах изловчился и пролез в главы администрации... Все они из бывших, все перекрасились, все оказались на поверку ворами и мерзавцами...

— И что же его так долго терпят? Давно пора переизбрать...

— Легко сказать... переизбрать, — иронично смерил меня взглядом Феодосий Павлович. — Они тут так переплелись — хвостами, как крысиный король... Попробуй скovyрни... За бюджетные деньги, и немалые, которые они нагло разворовывают, они любого в землю живьём закопают. Такое ощущение, что они никогда не нажрут. Куда в них столько влезает! Город высосали до полумертвого состояния. Сам видишь... А что в деревне творится! Ни одного гектара не сеется и не пашется... Всё заросло лесом. Крестьянство убито как класс. Неперспективными становятся уже центральные усадьбы бывших совхозов, ещё недавно многолюдные сёла... Я же знаю, достаточно поездил по ним, когда писал о сельских домах культуры. Представить себе невозможно, но в деревне при "людоедской" советской власти появлялись уже культработники с высшим профессиональным образованием... Фортепианная музыка звучала в клубах! Невероятно! Как в дворянских гнёздах когда-то... Ведь был же уровень! И с каким безразличием и презрением к народу, его душе, умышленно разорили всё и омертвили... Да, да, всё мертвеет! Закрываются школы, почты, медпункты, дома культуры, в деревне не осталось ни одного детского садика. И это в сердце России! И никаких даже намёков на возрождение. У меня такое ощущение, что неперспективными скоро станут районные города!

— Ну, это вы уже слишком, — каюсь, нарочито подстегнул я разогревшегося Феодосия Павловича.

— Слешком?! — вскричал Никаноров. — В нашем городе не осталось ни одного завода, ни одной паршивой фабрички. Всё разбомбили, растащили... На полупроводниковом заводе — помнишь, закрытое предприятие было, почтовый ящик, пятнадцать тысяч человек работало? — кувалдами разбавали станки с числовым программным управлением, за валюту купленные за границей, драгметаллы искали. Всё остальное на металлолом потом сдали... В цехах теперь шмотками торгуют. Местные бандиты все кинулись в бизнес, открывают супермаркеты, рынки, магазины... Занимают за взятки своими каменными сараями, похожими на тюрьмы, лучшие места на центральной улице. Ты пройди, посмотри, во что они превратили центр города! Какая-то дикая азиатчина, лишённая даже намёков на стиль, грязный комок, сплошной шанхайчик... Вот где пульсируют сладкие соки для Крошкиных!

— Логика здесь простая: если строят и открывают магазины, значит есть спрос, — пробросил я вскользь, — опять же занятость населения...

— Да какая тут занятость, три четверти взрослого населения ездит в Москву на заработки, каждый день по пять часов в электричках... Встают в четыре, возвращаются в девять. Это же оскотинивание какое-то человека! — так и взвился Феодосий Павлович. — А то, что строят много магазинов, так кто ж против. Но почему не строят заводы, НИИ, не открывают театры, — а ведь в городе был театр, и неплохой! — не сдают новые школы, больницы, детские сады? Понимаешь, нет развития, движухи, как сейчас говорят... Всё скукожилось и стагнирует!

Таким взбудораженно-развинченным я Феодосия Павловича ещё не видел. Всё в нём клокотало и пузырилось от какого-то предельного возмущения. Чувствовалось — достало человека. Он шёл, возбуждённо размахивая руками, и громко вещал об убитых надеждах, бесчеловечности, примитивизме и грубой наглости младореформаторов, тушिकости заложенной ими социально-экономической модели развития, по которой “мы до сих пор упрямо продолжаем движение в никуда”, а “ведь Россия жаждет рывка!” — вскидывал Феодосий Павлович указательный палец правой руки вверх, — “новой великой идеи, способной одухотворить и поднять на созидательный подвиг сонные, опухшие от пьянства и безделья народные толщи”...

Прохожие нередко останавливались и глядели нам вслед, на лица многих читалось простодушное удивление: ты, смотри, как набрался старичок, долго ли успеть! Так мы добрались до центральной площади, где в одном из кафе (по уверению Никанорова, самом чистом и приличном в Свободярске) собирались перекусить. Я давно не был в этой части города. Обычно, когда приезжал, с электрички домой пробирался, сокращая путь, окольными тропками и переулками. А потом засиживался, пригревался на одном месте и ни в какой центр меня уже не тянуло. Поэтому я был немало удивлён переменам на площади Ленина (неизменным оставался здесь только сам Ильич, по-прежнему готовый порывисто шагнуть с пьедестала и увлечь за собой массы на борьбу с эксплуататорами). Никаноров был прав — это было нечто, это был наш русский шанхайчик! Слово это ещё со стародавних времён означает что-то бесформенно-бесмысленное, уродливо-архаичное, временное, нелепое и несуразное. Курятник, одним словом, какой-то. Вот и главная площадь нашего городка превратилась в такой шанхайчик-курятник, разномастно-разношёрстное торжище. Проплутав изрядно в лабиринтах ларьков, палаток, магазинчиков, именуемых бутиками и супермаркетами, мы остановились перед деревянным теремком в стиле *а-ля рюс*, обозначенном резной вывеской как трактир “У Вадика”.

Внутри было опрятно и чисто. Стены из жёлтого соснового кругляка, лавки и столы тоже светлого дерева, расшитые полотенца с петухами на окнах, встретившие нас две девицы в сарафанах и кокошниках — всё это пусть и отдавало какой-то нарочитой стилизацией и выспренностью, но всё равно было приятно и мило своей приветливостью, подобранностью и подогнанностью, уютом и опрятностью. Пахло правильно — свежей выпечкой.

— Тут бесподобные пироги готовят, — сказал Никаноров, широко и с удовольствием втягивая через ноздри воздух. Он, можно было сказать,

уже достаточно успокоился. Только в неподвижных его глазах гуляли ещё мутноватые дожди.

— Приятное местечко, — оценил я, — ведь можем же что-то!

Феодосий Павлович усмехнулся.

— Вадик Кригер, — сказал он и повторил с особой интонацией: — Кригер... Помнишь, он у нас в отделе информации работал? Хотя — вряд ли. Он постарше тебя лет на пять... да и в редакции не засиживался, всё по стройкам, заводам и стадионам бегал, репортажи строчил... Белокурый, румяный такой парень — классический немец, его предок из пленных австрийцев ещё Первой мировой, женился здесь на русской и застрял в России... Так Вадик, когда советская власть приказала долго жить, мясом начал приторговывать, ездил по деревням — тогда ещё там скотинку держали, — покупал живым весом баранов и телят, резал и продавал с хорошей наценкой. Сейчас вполне процветающий коммерсант... Это заведеньице — его. Ну, что? По сто коньяку, зелень и лангеты с жареной картошкой, — предложил Феодосий Павлович, подзывая барышню в кокошнике, — лангеты у Вадика весьма недурственно выходят, очень советую, батюшка, откусывать... Так, наверно, сказали бы в трактирах Гоголя, Шмелёва или Бунина, — кривовато улыбнулся Никаноров. Он хоть и успокоился внешне, но внутренне, чувствовалось, оставался всё-таки каким-то намагниченным.

А лангет и впрямь оказался приличным, и картошка к нему была правильно пожаренной, и петрушка с огурцами-помидорами, укропом и кинзой не завяленной, и коньяк не разбодяженный. И подавалось всё вовремя и с улыбкой.

— Слобода Кукуй какая-то, — невольно вырвалось у меня. — Кригер — он и в Африке Кригер... А наш удел, похоже, вечные шанхайчики?

— Не думаю... — с заминкой сказал Никаноров. — А сравнение про Кукуй хорошее, — с ласковой грустью посмотрел он на меня. — И как тут в отчаяние не впасть... Двадцать пять лет прошло — четверть века! — как рухнул коммунизм, а жизнь всё глуше и глуше, а шанхайчик всё шире и шире... Меня достаёт одна мысль: а они там, наверху, совсем не знают, что происходит в глубинке? Или им на всё наплевать, только свой бизнес и ничего общественного?

— Но ведь у Кригера-то получается? — уклонился я от щекотливой темы.

— Кригер один такой на шестьдесят тысяч в нашем городе, — с неохотой отвечал Феодосий Павлович, — большинство тускло лепит свой шанхайчик!

— Почему? Ведь условия одинаковые... Получается, что всё дело в каких-то наших особенностях, отличиях, что ли?! — невольно заволновался я.

— Вот именно! — оживился и Никаноров. — Допускаю, что Кригер более хваткий и умелый, более способный к самоорганизации и порядку в силу каких-то национальных особенностей... Рассказывают, немецкие колонисты процветали и богатели среди украинской нищеты до семнадцатого года, припеваючи жили в Поволжье... Не пропали и высланные в дикие степи Казахстана. Допускаю, что это их национальная черта... Но мы-то другие! Почему не признают наших особенностей? Но нет же! Нас ломают через колесо... Двадцать пять лет загоняют, как презренное стадо, в так называемый рынок. Слепому уже ясно, что не проходит этот рынок у нас, отторгается он сознанием народа, чужда его душе мелкособственническая стихия. Было бы иначе, давно бы уже всё закипело и забурлило повсюду... Вместо этого — кладбищенская тишина, унылая лямка биологического выживания, шанхайчики... Значит, надо заканчивать этот постыдный эксперимент, искать другие подходы к душе народа, чтобы пробудить, расшевелить его на масштабные дела, иначе сгинет и развеется по ветру этот великий народ, оставит свои неоглядные прострательства другим, которые рядом набирают силу и энергию. Великое духовное уныние овладело нами, потому что расставленные ориентиры и цели не возбуждают и не увлекают нас, не тревожат дух охотника и первооткрывателя.

— Мы уникальны и неповторимы, и у нас исключительно свой путь? — не удержался от подначки я.

— А почему бы и нет! И насмешливость твоя здесь не уместна! — закипел Феодосий Павлович. — Каждый человек индивидуален и самобытен, каждый уникален и неповторим. Так и народы, собираемые по непонятным признакам (общий язык, территория, быт, нравы — всё это отчасти условности) в единую общность, имеют свою характерную “физиономию”. Если бы все люди на Земле были одинаковы, как твердят универсалисты, то зачем тогда все эти племена, народы, нации?! И заметь, народы не смешиваются. Они могут исчезать, умирать по “старости”, их могут истреблять, пытаться растворить в себе более сильные, они могут формировать единые исторические сообщества — империи, федерации, союзы, — но они живут, пока существуют две особи противоположного пола, принадлежащие к одному таинственному образованию, именуемому народом, в незримом, не поддающемся никакому объяснению поле узнаваемости друг друга и взаимного тяготения. Что это за особые метки, какие это неповторимые “запахи” — понять невозможно. Но они есть, и они определяют в каждом народе свой характер, свою психологию, свои возможности, меру ума и глубину чувствований. Всё уникально в каждом человеке, всё неповторимо в каждом народе.

— Допустим, вы правы, — сказал я не без интереса. В размышлениях Феодосия Павловича начало прорезываться определённое направление, признаюсь, не безразличное и мне, — допустим, у каждого народа есть свои, если так можно выразиться, субъектные особенности. И какие они, по-вашему, у русского народа?

Феодосий Павлович испытующе посмотрел на меня.

— Закономерный вопрос... и бездна ответов, — пробормотал он.

— И всё же... на ваш, сугубо личный взгляд.

— Я бы, — примерился, сощуривая глаза, но и без особых ломаний Феодосий Павлович, — выделил три главные характеристики нашего народа, своего рода три “Б”, — как-то очень уверенно сказал он, словно готовился отвечать на мой вопрос. — Это... — последовала короткая, но внушительная пауза, — бескорыстие, бесстрашие, безмерность.

Никаноров вопрошающе перевёл на меня свои неподвижные глаза — ждал реакции. Я ответил непроницаемым молчанием. Похоже, начиналось самое интересное.

— Да, на мой взгляд, это три ключевые, фундаментальные особенности русского народа, определившие, точнее, веками определявшие его судьбу и историю, — не спуская с меня пристального взгляда, продолжал Феодосий Павлович. — Первородное бескорыстие, удачно подкреплённое и развитое нравственно-этическими нормами христианства, позволило нашему народу пронести свою душу через века в чистоте и незамаранности грехом стяжательства, жажды материального благополучия, поклонения золотому тельцу, что суть одно из главнейших противоречий промыслу Божьему, его заповедям и установкам. В этом смысле наш народ как сосуд незамутнённого Божьего заповедания — народ, Богом выделенный. Его бескорыстие, как светильник в ночи, влекло и приманивало к себе десятки других больших и малых народностей и племён. Свет бескорыстия притягивал и согревал других. Поэтому русское государство стремительно, каким-то волшебным образом, раздвинулось на необъятные дали и пространства. Так Бог попустил верным носителям его истин пронести как можно дальше и шире эти истины в мире. Поэтому природа русского государства изначально мистическая, божественная... Почему оно возникло и выстояло под, казалось бы, смертельными, непоправимыми ударами, понять формально невозможно. Сказано, что Россия — это удел Богородицы, и всё. Кому дано понять — поймут.

— Раздвигать границы, покорять немеренные пространства — для этого требовались ещё и бесстрашие? Понятно... — как-то иронично получилось у меня.

— Верно уловил, здесь у меня должен быть плавный переход ко второй составляющей русского народа — бесстрашию... — спокойно отвечал Феодосий Павлович, — только напрасно иронизируешь, огрубляя мысль. Под бесстрашием я понимаю не только физическое мужество и доблесть,

предельную смелость и решительность... хотя этими качествами в высшей степени отмечен русский народ: в бою русский солдат бесстрашен и дерзок, он действительно не боится смерти, поэтому он ложится на пулемёт, таранит в горящем самолёте вражескую колонну, кидается под танк с гранатами... Что-то, а воевать мы умеем, особенно в войнах Отечественных... И поэтому Россия стоит... Но я под бесстрашием нашего народа понимаю ещё и нечто другое.

Феодосий Павлович с привычной рассеянностью посмотрел мимо меня. Какая-то чудачковатость вдруг проклюнулась в нём. Взгляд в никуда, лысый череп в венчике длинных, седых, давно не стриженных волос, страдальчески-вопрошающая гримаса остренького, бескровного личика — городской сумасшедший, да и только.

— Вы, верно, роман пишете? — почему-то участливо спросил я.

— Роман не роман, но так, кое-что... — встрепенулся Никаноров, словно выныривая из забытья. — Так вот, — весь подобравшись, решительно продолжил он, — под бесстрашием русского народа я, в первую очередь, понимаю его какую-то надмирную способность брать на себя миссию по воплощению в жизнь вселенских чаяний человечества по разумному, справедливому обустройству общества. Всемирная отзывчивость русского человека, по Достоевскому, привела его в начале двадцатого века к попытке построения на земле царства добра и справедливости. Это был бесстрашный эксперимент, который мог затеять только великий и бесстрашный народ.

— Это не бесстрашие, это глупость — затеять мировую авантюру, приведшую к морям крови, обессиливанию этого великого народа и, в конце концов, к позорной капитуляции перед всем остальным миром со своим “бесстрашным экспериментом”! — прервал я Феодосия Павловича.

— Набор либеральных штампов российского розлива, знакомое повизгивание хрюшек у кормушки, обеспокоенных только прибавлением собственного веса, — с досадой отмахнулся Никаноров. — “Печной горшок тебе дороже, ты пищу в нём себе варишь”... Извини, ничего личного... А вот взять на себя смелость — хотя бы попытаться, хотя бы попытаться! — реализовать на практике самые светлые чаяния и волшебные грёзы человечества о справедливой жизни на земле — это предел бесстрашия, это подвиг во славу человечества! Дерзкие мечты лучших представителей рода человеческого о “городах солнца” берёт на себя смелость воплотить в жизнь русский народ — это ли не абсолют дерзновенного бесстрашия! Другие, “более просвещенные и более цивилизованные” народы не смеют в своей умеренности разом отряхнуть прах старого мира с ног своих и зажечь иначе, как диктует чувство добра и справедливости, как повелевает гордый человеческий разум — без эксплуатации, без притеснений, с высвобождением всех творческих сил человека. Коллективный разум этих народов не позволяет им вырваться за рамки возможного, отпущенного природой, дозволенного. Этим свойством — разорвать привычный мир условностей, вырваться на иную орбиту вдохновенного поиска и творчества — оказался наделён в высшей степени русский народ. Он не побоялся отрешиться от привычного уклада старого мира и дерзнуть построить новое общество — справедливое, разумное, гармоничное. И в этом его подлинное бесстрашие! И если, по мысли одного очень неглупого человека позапрошлого века, русскому народу и суждено сделать что-то полезное и стоящее, то это преподнести человечеству какой-то очень важный урок. Будем считать, что этот урок наш народ уже преподнёс.

— Кровавый урок безумного экспериментаторства, урок на все времена — что не надо делать нигде и никогда, — снова не выдержал я.

И снова Феодосий Павлович посмотрел рассеянно как бы сквозь меня, приняв чудачковатый вид человека не от мира сего.

— Кровь... — потушился он, выводя пальцем вензеля на столешнице. — Её пролилось тогда не больше, чем в войнах за передел мировых рынков, за “демократию” под американскими бомбами, чем в кровавых разборках при дележе общенародной собственности в девяностые, чем в межэтнических бойнях после разрушения Союза... А что касается того, что “не надо делать

нигде и никогда”, так урок уже преподнесён, и его рано или поздно, только в другой форме, захотят повторить... возможно, снова у нас. Без подобного “экспериментаторства” России не выжить.

— Не думаю, — сказал я. — Сдаётся мне, страница построения светлого коммунистического общества закрыта навсегда.

— Должен заметить, — бесстрастно пропустил мимо ушей мою ремарку Феодосий Павлович, — я говорил о попытке построения справедливого общества, названного в России — всего лишь названного! — коммунистическим... мечту о котором человечество вряд ли расстопчет в себе... Но главное — я пытался сформулировать мысль о бесстрашии нашего народа, его вечной бесстрашной решимости брать на себя вселенские мегапроекты как сущностной доминанты в его исторической судьбе. Не будь таких сверхнапряжений у русских, они бы давно “погибоша аки обре”. Ставить себе сверхзадачи — это повеление природы русского народа, особенность его национального характера.

— Похоже, я начинаю понимать, что такое это ваша “безмерность”, — неожиданно с искренним интересом сказал я. — Так вы, кажется, сформулировали третью, знаковую, особенность русского народа?

— Жизнь русского человека чрезвычайно, я бы сказал, до какой-то крайней точки эмоциональна, — медленно начал говорить, опять же словно не замечая меня, Никаноров. — Но это вовсе не плохо, наоборот, я убеждён, что это наше огромное преимущество, поскольку эмоции — это как бы возгонка, доведение ума до крайней точки возбуждения, когда ум приобретает особого рода заострённость и креативность. И наступает своего рода расширение сознания, когда открываются истины, как озарения, недоступные обыденному сознанию. Давно поэтому замечено, что эмоциональные люди, скажем, более творческие... к делу подходят горячо и с воображением... Эмоции бросают русского человека из крайности в крайность. Поэтому в повседневности, скажем, только русский человек может изрубить, уничтожить нажитую с превеликим трудом, купленную на по копейке скопленные деньги домашнюю утварь и мебелишку или сжечь собственный дом, который он строил десятилетиями. Поэтому только русский человек, искренне веря в Бога, боясь и страшась Божьего гнева, может крушить храмы, иконы, святыни, чтобы потом всю жизнь отмаливать грехи свои постыдные. Поэтому только русский человек, в высшей степени человек государственный, поскольку на огромных ледяных пространствах привык надеяться, и справедливо, только на Бога и государство, как единственных спасителей и защитников, может, взъерившись на власть, уничтожить родное государство до основания, чтобы затем, надрываясь, в муках отстраивать его заново. И несть числа таким примерам нашей неуёмной психоэмоциональной безмерности. Вот почему, чтобы удержать русский народ в равновесии, ему необходима сверхзадача.

— По вашей логике, Россия, чтобы выжить, снова должна поставить перед собой очередную сверхзадачу? — сказал я. — Сдаётся мне, ответ у Вас уже давно готов.

— Есть такое дело, — не стал кокетничать Феодосий Павлович. — Суть моей идеи очень проста... России, чтобы выжить в современных условиях, необходимо провозгласить себя международным центром традиций, планетарной хранильницей всего светлого и божественного, что служит духовному и физическому процветанию рода человеческого на Земле.

Видимо, много недоуменной оторопи отобразилось на моём лице, если мой собеседник, сконфузившись, скорчил рожицу, повторяя меня, и деланно выпучил глаза.

— Вот так, ни больше ни меньше! — пафосно воскликнул он, овладевая собой. — Но прежде всего, здесь нужно прояснить одно заблуждение, которое вот уже без малого полтора столетия кочует по интеллектуальным центрам Запада и особенно популярно у нас в России. Это заблуждение сформулировано в известных тезисах о закате Европы и конце Западной цивилизации. Так вот, никакого разложения, угасания, а тем более умирания в Европе, — читай, в Западном мире, — на мой взгляд, и близко не стояло.

Наоборот, Западная цивилизация уверенно и победительно вступила в новую эру человечества, эру, как я уже сказал, искусственного интеллекта и цифры. Мы же свой переход одновременно с ведущими странами мира в новую фазу человеческого развития под трéп о перестройке, гласности и построении рыночной экономики бездарно профукали. Но мы даже через двадцать пять лет либерального бесплодия можем не только наверстать своё, но и стремительно выйти в мировые лидеры, если станем, повторяю, глобальным планетарным центром, который вберёт в себя лучших представителей человечества, верных Богом установленным традициям, Богом определённым представлениям о добре и зле, Богом предстанным на Земле через своих пророков нравственным заповедям и нормам поведения... Но вернёмся к ключевому для нас тезису об упадке Европы и тому, что там, на мой взгляд, действительно происходит. Повторяю, Европа как матрица Западной цивилизации уверенно, как никогда сильная и сплочённая, вступила в новую эру развития человечества. Её колоссальные знания и вера в неисчерпаемые возможности человеческого разума формируют перед всем Западным сообществом свою сверхзадачу. Как более двух тысяч лет назад в колыбели европейской цивилизации — Древней Греции — “умер Пан”, возвестив тем самым приход в человечество вместо устаревшего жизнелюбивого и светлого политеистического язычества сосредоточенного и жёсткого монотеизма, так и в современной Европе решили окончательно распрощаться с волшебной мистикой христианства, заменив её полностью и окончательно сухим безошибочным потрескиванием цифр в таинственных лабиринтах искусственного, “компьютерного” разума. Другими словами, Европа сделала свой окончательный выбор от Веры в пользу Разума. В Европе Ум навсегда вытеснил Сердце. Отсюда жёсткий слом Традиции во всём — от традиционной семьи (официальная регистрация гомосексуальных пар с правом усыновления детей) до национального государства (Европейский союз без внутренних границ, практически бесконтрольная иммиграция из стран третьего мира — “долгой этносы, да здравствует единое человечество!”). Европейское сообщество стремительно переформатируется. “Освобождённое от сковывающей развитие химеры Традиции”, наделённое строго логичными выводами искусственного разума и Разума человека, оно бурно устремляется в мир непрерывно совершенствуемого материального блеска и могущества. Вера в Бога подменяется верой в неисчерпаемые возможности человеческого радио, справедливость — доступностью для большинства суррогатов земных благ и удовольствий. Душа как нематериальная субстанция отменяется вовсе и безоговорочно.

Феодосий Павлович взглянул на часы и резко засобирился:

— Мы с тобой уже три часа здесь болтаем, а мне номер на пятницу верстать... к четырём приходит корректорша. Всё, пора... Не правда ли, уютное местечко? Теперь будешь знать, куда не стыдно пригласить в нашем славном Своробоярске какого-нибудь важного московского гостя, — сказал он, словно читая мои мысли о том, чтобы привести сюда пообедать в субботу Мишу Васильева. И добавил, как-то многозначительно усмехнувшись: — Мы, случается, здесь с Лёшей Мальковым встречаемся перетереть новостешки, о политике потрындеть... Он, в отличие от тебя, ею весьма активно интересуется. Занятный он малый, я почему-то в юности его не помню, хотя и часто заходил в вашу школу, у вас драмкружок, если помнишь, был весьма недурственный... А вот Лёшу Малькова не помню... хотя он колоритный в чём-то человек. Большой радикал, между прочим.

— В чём радикал? — спросил я, смутно догадываясь, что Феодосия Павловича с Лёхой Мальковым что-то связывает, может быть, даже и поглубже, чем со мной. Во всяком случае, вдруг понял я, перед моим визитом к Никанорову Лёха уже обо всём уведомил его.

— Да, так... в некоторых своих воззрениях на жизнь, — уклончиво ответил Феодосий Павлович. И почему-то добавил: — На современную жизнь...

Мы расплатились (цены тоже оказались в ресторанчике весьма приемлемыми) и молча покинули гостеприимный трактир “У Вадика”. Миновав

разнообразие, шумливое, к вечеру заметно оживившееся торжище — в междурядьях палаток бойко зашуршали с тележками на колёсиках многочисленные сноровистые старушки — вышли к памятнику Ленину.

— За просроченным товарцем — хлебом третьего дня, полупрокисшим молочком, выдавшей виды колбаской спешит неутомная, полуголодная старость, — хмуро пояснил геронтократический десант Феодосий Павлович. — К вечеру залежь за полцены отдают... — И неожиданно с глуповатой задорностью пропел-продекламировал с фальшивым хохляцким акцентом, обращаясь к порывистой фигуре на постаменте: — Встань-ко, Лэни, подыбься, як колхозы развылься... хата раком, сенцы боком и кобыла с одним оком.

Чугунный Ильич сурово отмолчался. Мне стало неловко. Никаноров сконфузился.

— Да, к слову... Уверен, вы знаете, — жалея старика, сказал я уважительно, — почему в его царствование, — кивнул я на памятник, — не переименовали старорежимный Своробоярск в какой-нибудь новомодный тогда Клароцеткинск? Странно, почему не тронули?

— Трогали, да ещё как! — с благодарной торопливостью откликнулся Феодосий Павлович. — Один радикально настроенный уездный комиссар из бывших учителей словесности предлагал, чтобы сохранить архитектонику слова, переименовать город в Смертьбуржуйск или Смертьцарёвск — что-то в этом роде... но как-то пронесло. В шестидесятые, при Хрущёве, когда поставили ракеты, думали назвать Оборонском, потом Возмездьевском. Но посчитали, что расшифруются, и оставили всё как есть. А потом какой-то московский лингвист, побывавший в наших краях, тиснул в центральной газете заметку, что в слове “Своробоярск” есть правильный классовый подтекст — бояре, мол, это свора... свора кровопийц, истязателей... что народ бояр всегда именно так воспринимал и неслучайно как бы зафиксировал это в названии городка. С тех пор с переименованием затихли. Ну, а сейчас, когда старое — это наше всё, Своробоярск звучит, можно сказать, авангардно. Даже Крошкин как-то на сессии районного собрания депутатов заявил, что Своробоярск — это “самый цимес, ништяк”. Видимо, он хотел сказать, что Своробоярск — это неповторимо, оригинально, хорошо. Но сказал так, как принято у них...

— У кого это — “у них”? — стало интересно мне. — “Цимес”, “ништяк” часто употребляются в криминальной среде...

— Верно! Поэтому “у них”... это, можно сказать, в шайке, преступной шайке! Где давно уже и воровский язык, и воровские порядки! — раздражённо бросил Феодосий Павлович, пожимая на прощание мне руку.

3

Встречать Мишу Васильева Лёха Мальков предложил вроде бы хлебо-сольно, с выдумкой, на широкую ногу. В то же время, пока он на следующее утро за столиком, врытом у меня во дворе под липами, излагал план приёма Миши, меня не оставляло ощущение, что предлагается какая-то пошлая, неприличная клоунада. Хотя всё говорилось Мальковым самым серьёзным тоном и с самым серьёзным выражением лица. Во-первых, встречать Васильева Лёха предлагал у ворот моего дома чуть ли не ротой почётного караула. “Солдатики доставим в нужном количестве и в нужное время, — загибая мизинец на правой руке, глазом не моргнув, говорил Лёха. — Затем мы вот тут под липами — очень живописно! — по рюмашке, второй... скатерть-самобранка за мной, — загибал он второй палец. — Потом едем в монастырь — торжественный перезвон колоколов, с игуменом я договорюсь... приобщение, или как там, облобызание святых мощей... Монаси, баяют, раскопали где-то нетленные кости то ли святого Амвросия, то ли Пафнутия какого-то... — Лёха загибал третий палец. — После этого обед “У Вадика”, будет Крошкин, на полезное знакомство он клонет... — Лёха закладывал четвёртый палец. — Вечером тройная уха, банька у тихой заводи, ныряние после жаркого венчика в прохладные воды... так сказать, нагишом, под луной... а если ещё девчонок подогнать, официанточек от Кригера, в кокошниках!

Будет просто сказка!” — прикрыл он большим пальцем сложившийся кулак и двусмысленно помахал им на полусогнутой руке в воздухе.

— Ну, как планчок? — выдержав паузу, бестрепетно воззрился на меня Мальков своими ястребиными глазами.

“А ведь он замазать Мишу хочет!” — дошло вдруг до меня.

— Ты это всё всерьёз или как?! — вскинулся я.

— Что такое? Что мы так разволновались?! — с ехидцей отозвался Лёха.

— Не паясничай! Противно! — сказал я. — И попрошу без этого гаденького глума: “облобызание святых мощей”, “нетленные кости святого”! Что за гнусь ты несёшь!.. И я не позволю скомпрометировать моего друга! Тут у тебя не получится! — потряс я пальцем перед лицом разом насупившегося и помрачневшего Лёхи. — И, вообще, дай мне смету расходов по ремонту дома, я её оплачу... Я не привык за чужой счёт!

— При чём тут какая-то компрометация? Ты думаешь, твой приятель с девочками по случаю не резвится?! Так принято сейчас! Наслаждайся, пока может... Компрометация? — нервно передёрнул плечами Лёха. — Чутьё какая-то! Впрочем, как скажешь, хозяин, — добавил он, проглатывая раздражение, подчёркнуто иронично налегая на последнее слово. — Сам-то что предлагаешь?

— Первое: что мы покажем, какой конкретно участок? Поэтому с Крошкиным нужно встретиться уже завтра, официально, на его рабочем месте, чтобы он дал команду подыскать приличный вариант на уже отведённых под застройку землях. — Лёха наострил уши и, не скрывая некоторого удивления, стал внимательно вслушиваться. — На обед в субботу Крошкин никогда не пойдёт, вряд ли он, хитрый жулик, будет засвечиваться... Ему безопаснее действовать через помощников, — продолжал я. — Ну, а если процесс закрутится, Крошкин сам найдёт повод познакомиться с Васильевым... Второе: встречаем дорогого гостя скромно, по-деловому... Ну, если только пару рюмок здесь под липами, — Лёха снисходительно улыбнулся. — А вот поужинать, согласен, можно и “У Вадика”, кормёжка там приличная, обедали там вчера с Феодосием Палычем... И последнее: предлагаю позвать на встречу старика, он очень забавный, вчера он меня буквально придавил своими историсофскими глыбами! Это будет наше фирменное угощение... Миша тоже любит пофилософствовать. А потом — кто лучше Никанорова расскажет о Своробоярске!

— А ты растёшь, — без привычной насмешливости сказал Лёха, — ситуацию с Крошкиным верно разложил... Попытаюсь договориться с ним о встрече на завтра, только и тебе, — со значением посмотрел он мне в глаза, — надо бы у него побывать. Кто ему в пределах допустимого, более или менее подробно расскажет о “дорогом госте”? — не удержался и всё-таки противно ухмыльнулся Лёха.

— Естественно, — польщённый Лёхиной похвалой, как-то чересчур поспешно, до смущения, согласился я.

— А вот по Никанорову у меня сомнения, — не дал опомниться мне Лёха. — Чрезмерно треплив, как бы лишнего чего не нагородил... старческое недержание мощи, — скаламбурил Лёха и победительно посмотрел на меня.

— Нет, он должен быть! — сказал я тоном, не терпящим возражений. Мне было важно поправиться в короткой слабости.

— Этот старый болтун только всё испортит, его не должно быть! — принял вызов Мальков.

— Что он может испортить?! Он только придаст пикантности... Я лучше знаю Васильева, — закусил удила я.

— А я лучше знаю Никанорова! — вспенился Мальков. — Он сплетник, разнесёт всё потом по городу.

— Я тоже знаю Феодосия Палыча больше тридцати лет. И не помню, чтобы он был сплетником... Это уже неприлично, вот так, за глаза! — вошёл в раж я. Мне почему-то хотелось Малькову во всём противоречить.

— Послушай, дружок, ты его помнишь, когда ходил в коротких штанишках и смотрел на него снизу вверх, — с вызовом бросил мне Лёха. — Всё изменилось, ты ничего здесь не петришь, и Никаноров твой стал другим...

— Какой я тебе, к чёрту, дружок! — с остервенением вскрикнул я и в быстром, каком-то интуитивном замешательстве, стыдливо прикусил язык. Во двор входил, кажется, предварительно постучав в калитку, как из волшебной сказки, кротко улыбающийся, излучающий любовь и доброту, — я почти физически ощутил это, — маленький сухонький монашек.

— Простите ради Бога! — в следующее мгновение взмолился я, — отец... — и вдруг словно осенило меня, — отец Нектарий!

— Чертыхнулся — сразу сотвори молитву: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного”. И нечистый отойдёт, — ласково заговорил монашек, бойкими мелкими шажками приближаясь к нам, — а вот то, что во гневе пребываете, уже покаянием и исповедью лечится. Но вы оба, я вижу, святых таинств не приобщаетесь, в храме бываете редко, от случая к случаю... — с мягким укором продолжал он, кланяясь поочерёдно каждому из нас. Мы истуканисто и безмолвно стояли перед ним, отвешивая какие-то нелепые полупоклоны.

— А как вы догадались, что мы невоцерковленные? — спросил как-то запросто и грубовато Лёха.

— А здесь и догадываться-то особо не надо, дерзновенный человек... Вы здороваетесь со мной, как светские люди, порядков иных не знающие, — ласково заворковал монашек. — Но ничего, ещё проторите каждый свою стёжку-дорожку к храму, — многозначительно сказал он, внимательно вглядываясь в каждого из нас небесно-синими, от старости уже выпцветающими, глазами.

— А вот как вы догадались, добрая душа, — обратился он ко мне, — что я иеромонах Нектарий?

— По какому-то необъяснимому наитию, ваше преподобие, — вспомнилось вдруг мне вычитанное в какой-то книжке обращение к иеромонаху.

— Просто — батюшка, — сделал он останавливающее движение рукой, — или, как вы сразу обратились, — отец Нектарий... А вы, теперь уже моя очередь догадываться, — пытливо взглянул монашек на меня своими глазками-васильками, — Кирилл Прилукин?

— Верно, — не стал скрывать удивления я.

— Никакого наития, — улыбнулся гость, — мне описал вас послушник, которому вы любезно оставили для меня свою визитную карточку... По вашей визитке я позвонил в московскую редакцию, там сказали, что вы в отпуске в Своробоярске, дали ваш тутошний телефон, про мобильный я по старинке забыл спросить, а по номеру телефона нетрудно установить и адрес... Звонил вчера весь день, вас всё дома нет, — заволновался неожиданно монах, с жадным любопытством оглядывая дом и двор. — Так что ничего сверхъестественного, молодые люди, — с учтивой беглостью продолжал он, — только чрезмерное любопытство старого, всё ещё суетящегося — Господи, прости! — человека. Хотя... — он сделал паузу, — впрочем, об этом потом... — и долгим взглядом посмотрел на Лёху. — Извините, но мне ваше лицо однозначно знакомо, хотя... я наверное знаю, мы с вами нигде и никогда не встречались.

Я представил отцу Нектарию моего друга.

— Извините, батюшка, я спешу... мы с вами действительно прежде не были знакомы, но я рад знакомству состоявшемуся, — забормотал вдруг Лёха и стал как-то суетливо, что было абсолютно не свойственно ему, выбираться из-за стола. — Поеду договариваться с Крошкиным, — бросил он мне, не поднимая глаз, — о встрече на завтра с нами... Завтра пятница, день короткий... надо успеть застолбить у него время.

— Вспомнил, — сказал отец Нектарий, когда Лёха отъехал от ворот на своей чёрной, огромной, похожей на катафалк машине, — ваш друг, Кирилл, удивительно походит на одного недавнего посетителя ко мне, — уточнил он. — Вы не поверите, они, как близнецы, только тот постройнее, позицинее сложен, тоньше лицом, и глаза, кажется, светлые... У вашего друга есть брат?

Я растерялся. Казалось бы, столько лет знаю Малькова, но только теперь вдруг сообразил, что ни разу не был у него дома, не был знаком с его родителями, не имею малейшего понятия о его близких.

— Увы, не знаю, батюшка, — промямлил я и предложил гостю подкрепиться с дороги.

Отец Нектарий внимательно посмотрел на меня, снял чёрную бархатную скуфейку и комком носового платка, извлечённого из бокового кармана старого, вылинявшего подрясника, промокнул несколько раз вспотевший лоб. День, в отличие от вчерашнего, разгорался жаркий. Было солнечно, тихо и безветренно. Кротко падали на землю первые жёлтые листья.

— Сегодня заканчивается Успенский пост, — сказал монах, с явным облегчением присаживаясь на скамейку за столом и освобождаясь от небольшого рюкзака за спиной, — если можно, немного мёду и стакан тёплой воды... А вот о людях, которые рядом с вами, не грех и поинтересоваться... чтоб потом разочарований меньше было, душа моя, — неожиданно добавил он и со значением посмотрел на меня.

— А может, лучше всё-таки пройдем в дом.

— Не стоит... потом; здесь так чудесно, такое хрустальное благолешие... и солнце сквозь листву столетних лип... как в пору детства моего, — поднял гость глаза к небу и ещё раз огляделся. Ставшие ещё более синими от синего неба, глаза старца увлажнились.

Я почувствовал сильнейшее волнение и, сбивая минутную слабость, ошалело помчался в дом за угощением. Наверху включил электрический чайник, достал свежую скатерть, набрал в вазочки изюма и очищенных грецких орехов, нацедил из банки в блюде свежевыкачанного мёда (как знал, незадолго до этого купил на рынке), выставил всё это на поднос и поспешил снова во двор.

Отец Нектарий уже обходил дом по периметру, ловко прицеливаясь и щёлкая объективом профессиональной камеры "Nikon".

— Вот, — сказал он, помахав фотоаппаратом в воздухе, — с некоторых пор всегда ношу с собой... "Остановись, мгновенье — ты прекрасно!"

То ли погода стояла особенная, то ли я хорошо выпался, но с этим неожиданным гостем мне было удивительно легко и свободно. Я быстро расстелил скатерть, расставил вазочки и сбегал ещё раз в дом за чайником, заваркой и чашками.

— Прошу, отец Нектарий, а то осы налетят, — позвал я старца к чаю.

— Как вы сказали? Осы налетят? — подошёл с каким-то просветлённым взглядом гость. — Так говорила моя мама, когда мы накрывали стол на свежем воздухе вот в такую же пору... Стол у нас стоял так же, под этими липами, но, кажется, ближе к саду... Ну, вот, похоже, я вам всё и сказал, — глянул он на меня вопросительно и ясно.

— Я сразу догадался, кто вы, когда мне сказали, что вы — Смирнов, поэтому-то и побежал сразу к вам в монастырь, — радостно признался я.

— Не побежали, а, насколько я знаю, поплыли, — улыбнулся старец. — Кстати, обратно вы не могли бы меня доставить по воде? Меня отец любил в детстве катать на лодочке до монастыря и обратно...

— С удовольствием! Каждый день для зарядки стараюсь походить на вёслах!

— Ну, вот и славно. А теперь откушаем чайку, — бочком подсел к столу старец, а затем ловко перекинул через скамейку обувь в кроссовки ноги. — Эти липы посадил ещё мой дед при царе-Миротворце — великий государь был!.. Так что им уже прилично за сотню... А вот сад, я думаю, новый, только тоже уже состарившийся...

— Его посадил мой дед, — в свою очередь не без гордости сказал я, — тоже при по-своему великом красном государе... — На последних моих словах старец усмешливо опустил глаза. — Часть деревьев давно уже по старости вырубали, посадили новые... но часть старых, как это ни удивительно, ещё плодоносит. И весьма щедро... бывает, яблоки некуда девать.

— А дом, я смотрю, вы решили подновить, — кивнул отец Нектарий на аккуратно сложенные упаковки сайдинга в целлофане и кирпичи у крыльца, — да и в подвале, слышно, кто-то работает.

— За три века дом дал просадку, специалисты посоветовали укрепить фундамент... в подвале бетон под фундамент закачивают.

— Дом... просадку дал, любопытно... — неопределённо протянул старец, аккуратно отправляя чайной ложечкой изюм в рот и запивая чаем, — триста пятьдесят лет простоял... и вдруг просадку дал... А специалисты — это ваш давешний друг? — задался вопросом он и неожиданно раздумчиво добавил: — Какая-то особая планида, видимо, влечёт его сюда...

— Скажите, отец Нектарий, — вдруг спросил я, — почему вы назвали его дерзновенным человеком? Вроде и похвалили, а вроде и нет.

— Напомнил он мне, по какой-то главной составляющей в них, одних людей из далёкой юности моей, — вздохнул старец. — Те тоже дерзнули начать вроде бы правое дело, но неправое к какой-то другой большей правде, а вот принять эту большую правду они не смогли...

— Почему?

— Потому что дерзновенные были, Бога не хотели в душе слушать! — мне показалось, старец метнул из-под бровей синий огонёк. — А вот с вами я премного рад познакомиться... Я за вами давно уже слежу в русской прессе. Вдруг, думаю, из тех самых Прилукиных, что купили у нас дом тогда... Мне покойная матушка говаривала, что купили Прилукины... фамилия довольно редкая... А потом вы как-то писали в поддержку возвращения церкви нашего монастыря, ещё на излёте большевицкой власти... Я тогда ещё раз подумал, что вы не случайно хорошо пишете, с любовью, как бы очень заинтересованно... Вы тогда написали, что в детстве играли рядом с монастырём, значит, вы где-то рядом росли... И вот — чудо! Вы действительно из тех самых Прилукиных, и я с вами беседую у родного дома, родного и для вас, и для меня. Ну, не чудо это, скажите мне!

Признаюсь, волнение старца передалось и мне. Я тоже был под впечатлением этой необычной встречи. Я почувствовал вдруг, что завязывается какой-то странный тугой узелок судьбы, расплести который будет не так-то просто. А эти ощущения отца Нектария, так совпадающие с моими, что появление Малькова здесь неслучайно? Сердце моё затрепетало.

— А вы знаете, батюшка, сейчас мы с моим другом начинаем кампанию по возрождению храма-часовни в Заречье, — сорвалось у меня. — Может быть, вы сможете чем-то помочь в ваших кругах?

Старец чрезвычайно внимательно, даже как-то чересчур внимательно посмотрел на меня.

— Удивительно, — сказал он с некоторым недоумением, — именно по этому делу я и ездил позавчера в Москву к Патриарху... Его Святейшество обещал оказать содействие прошению воинской части по восстановлению на территории гарнизона часовни, возведённой, если мне не изменяет память, чуть более ста лет назад в честь преподобного Романа, ученика самого Сергия Радонежского, основавшего в конце четырнадцатого века на месте будущей часовни свою обитель. Её так и звали в народе — Романовской... Правда, часовня эта была построена старообрядцами, тут тонкие коллизии возникают...

— Как? Вы ездили к Патриарху с прошением воинской части? — изумился я.

— Что вас так удивляет? — пытливо взглянул старец, — меня посещал в монастыре командир этой части... дважды. В первый раз советовался, как приступить к восстановлению часовни, а во второй, по моему наставлению, привозил письмо-ходатайство к Святейшему...

— А мне Мальков, ну, Алексей, который только что был здесь, предложил поднять информационную волну в прессе... Что, мол, на это только надежда. А я-то всё думаю, почему армейцы сами не побеспокоятся?! И без прессы часовню можно восстановить, ради Бога! И вот оно так и выходит... Так для чего же тогда меня подключать?! — стукнул я ладонью по столу.

— Не гневайтесь, вы слишком эмоциональны... Всё рано или поздно узнается, — деликатным, лёгким прикосновением накрыл мою руку своей маленькой сухой ладошкой старец. — Если ваши помыслы чисты, то всё только во благо... Видимо, ваш друг хочет ускорить процесс, не вам говорить — пресса серьёзная сила... А вам Бог весть чего мнится... — Какое-то время старец сосредоточенно над чем-то раздумывал. — Удивительно они всё-таки

похожи — тот военный, что приходил ко мне, и ваш друг. И оба с идеей, оба чем-то сильно заряженные...

— А как представился военный, как зовут его, в каком звании? — нетерпеливо спросил я.

— Он полковник... у него три большие звёздочки на погонах, — проявил неожиданную осведомлённость отец Нектарий. — Да, он так и представился — командир такой-то ракетной дивизии полковник Шатров.

— Шатров? — прикинул я. — Выходит, не брат.

— Фамилии иногда ничего не значат, — задумчиво сказал старец, — случается, двоюродные братья по материнской линии похожи больше, чем родные.

— Как Николай Второй и его английский кузен Георг Пятый, — ввернул я.

— Прекрасная иллюстрация к мысли, — уважительно кивнул головой старец.

— Николай Второй тут вовремя вспомнился, — пришла мне неожиданная мысль, — ведь это благодаря его указу “О веротерпимости” старообрядцы начали бодро возводить свои храмы в России, в том числе и нашу часовню... И как теперь быть с этим старообрядчеством? Вы правы, ситуация тут складывается непростая...

— Патриарх обещал разобраться... Но я о другом. Видите, как всё не просто в нашей жизни, — ласково улыбнулся старец, — если обгораживаться условностями... Главное понять, угодное ли Богу дело делаешь. А возродить храм Божий, временно утерянный, всегда дело благое перед Спасителем нашим. Не так ли, душа моя?!

— Извините, отец Нектарий, — сказал я так, словно что-то подтолкнуло меня изнутри, — но эти условности привели и к тому, что люди себя заживо сжигали, что, в частности, случилось, как мне рассказывали, на месте, где была возведена потом эта часовня.

— Всё верно, за свои убеждения люди готовы идти добровольно и на костёр, — согласно закивал головой старец, — но всегда ли то, что человек принимает за убеждения, подлинные, а не мнимые ценности? Разобраться в этом практически невозможно. Всё зависит от личности, от её духовной зрелости, от степени приближения её к Богу. Вы знаете, молодой человек, что бы я принял за критерий истины? — неожиданно улыбнулся старец... — Воззрения большинства! Чисто демократический метод! Лучше не придумашь. Староверы остались в меньшинстве, а значит, в чём-то они неправы. Поверьте, друг мой, — приложил старец руку к сердцу, — я глубоко чтю их аввакумовскую стойкость, неподкупность, преданность идеалам и уложениям, завещанным предками... Я даже восхищаюсь ими, преклоняю перед ними колена как перед мучениками и заступниками веры, как они её понимали! Я горжусь, что в России были такие подвижники духа! Но за ними не пошли... Значит, душа народная приняла новое и понесла его дальше в своём историческом развитии... Таковую же трагедию я вижу в Белом движении и в делах других дерзновенных... Неужели они снова нарождаются? — задумался вдруг старец, словно прислушиваясь к чему-то, что слышит только он. — Боюсь, вновь они пойдут против большинства, — еле слышно, словно про себя, проговорил он.

— О ком вы, отец Нектарий? — спросил я, почувствовав, как беспричинная тревога заползает в душу.

— О них... о тех, кто, мне кажется, сейчас рядом, которых не ждут, но они тут, совсем рядом, и скоро вырвутся, как звери из клеток, на волю... — загадочно сказал старец и пристально посмотрел мне в глаза.

— Не понимаю, — смутился я.

— Я и сам пока многого не понимаю, но я вижу... И что-то будет, — снова туманно отвечал старец и, подумав, вдруг добавил: — Он мне хотел в чём-то открыться, я это почувствовал, в чём-то тяжёлом, может быть, страшном... но... не решился. Но он придёт скоро снова... в третий раз... И тогда... тогда он может открыть сердце. Я не хочу этого! — вырвалось у него.

— Он — это тот, кто так похож... на моего друга? — почему-то холодея, спросил я.

Старец промолчал.

— А вам приходилось видеть разрушенную часовню, может быть, фотография сохранилась? — спросил я после неловкой паузы первое, что пришло в голову.

— Мне было всего пять лет, когда мы с мамой каким-то чудом в тридцать третьем вырвались отсюда в Эстонию, — заметно заволновался старец. — Я не помню, чтоб мы посещали с отцом-священником Романовскую часовню. Возможно, и были там. С этим храмом, точнее, с этим местом, как рассказывала мне мама, нашу семью связывало что-то особенное, — но детская память избирательна. Вот как с отцом плавали к монастырю — помню... Но это же лодка, речка, кувшинки в заводях, сияющие купола над горой — так ярко всё, волшебное... А вот часовню не помню... Но фотография, Вы правы, сохранилась в нашем семейном альбоме, который мама вывезла за границу... Я её с собой, не поверите, как знал, снова привёз в Россию... Сейчас она по просьбе Святейшего у него в канцелярии.

— И как выглядела часовня? — заинтересовался я.

— Судя по фотографии, это был небольшой, можно сказать, миниатюрный храм, выдержанный в стиле раннего новгородского зодчества. Вам знакома старообрядческая церковь Никола Чудотворца у Тверской заставы в Москве, напротив Белорусского вокзала? — живо спросил старец.

— Хорошо знаю, — отвечал я, — некоторое время жил на улице Правды и, когда выходил к дому из метро “Белорусская”, всегда обращал на этот храм внимание... Такой суровый, аскетический стиль... заставляет уважать. Не знал, что он старообрядческий.

— Так вот, часовня, только без колокольни, почти копия этого храма. А может, наоборот... Насколько я представляю, церковь Никола Чудотворца была заложена на год позже часовни.

— Ну, что ж, за возвращение такой красоты стоит побороться! — бодро сказал я, нацеливаясь на вопрос, может быть, не совсем приятный старцу: — Вы обмолвились о какой-то особенной связи, отец Нектарий, вашей семьи с часовней?

— А, вот вы о чём... Заметили! — вопреки моим ожиданиям, охотно отозвался старец. — Дело в том, что пастырем у тех староверов, что предали себя самосожжению в обители преподобного Романа и в память о котором была воздвигнута эта часовня, был мой далёкий предок, протопоп Никита.

Я вспомнил рассказ об этом Никанорова. Всё сходилось.

— Старообрядцы, числом более двух сотен, сожгли себя тогда, но дети их чудесным образом спаслись, — вырвалось у меня.

— Откуда вы знаете?! — удивился старец.

Я коротко рассказал ему о краеведческих изысканиях Феодосия Павловича.

— Познакомьте меня с ним, Кирилл, — попросил старец. — Может быть, он поможет разобраться, что же тогда случилось на той гари... Как выжили дети...

— Их могло спасти царёво войско, окружавшее скит, — предположил я.

Старец отрицательно покачал головой.

— Недели три тому назад по разрешению Святейшего я заглядывал в синодальные архивы, нашёл там донесение о том самосожжении... В бумаге указывалось, что стрельцы не успели взломать скитские двери... огонь был страшный... сгорели все.

— А потом детей тех, кто сгорел, стали замечать в оставшихся старообрядческих семьях... Так возникла легенда о чудесном спасении деток, — повторил я рассказ Никанорова.

— То, что дети спаслись, — это чудо, — задумчиво проговорил старец, — но сдаётся мне, что чудо это — рукотворное...

— Вы хотите сказать, что дети всё-таки в прямом смысле этого слова вышли из огня? Но каким образом, если вы сами читали, что огонь поглотил всех?

— Если спрашиваешь, жди ответа, — неопределённо, глядя в землю, проговорил старец.

На этом чрезвычайно интересном месте наша беседа была прервана появлением Усатого с товарищами. Было около двух часов пополудни, время обеда для моих строителей. Обычно они уезжали обедать на “рафике” куда-то в город. Возвращались ровно через час и, надо отдать им должное, всегда трезвые. Ладные, в одинаковых комбинезонах, как в униформе, рабочие вызвали заметный интерес у старца. Когда они миновали нас, почти разом поздоровавшись, и вышли за ворота, старец не без восхищения посмотрел им вслед:

— Солдатушки, бравы ребятушки! Не знаю, почему, всегда уважал военную косточку!

— Почему вы решили, что они военные? Это обыкновенные рабочие...

— Возможно, — усмехнулся старец. — Мне пришлось достаточно пожить среди военных... видел выправку старой русской школы, эти не уступают... Право, молодцы! Это они у вас фундамент укрепляют? Эти укрепят... эти с любой задачей справятся! — с лёгкой иронией протянул он и неожиданно добавил: — А нельзя ли посмотреть, что они там мастерят? — кивнул головой в сторону подвала.

— Да ради Бога, отец Нектарий! — с энтузиазмом откликнулся я, гася вновь забродившие во мне тревожные настроения, — заодно и дом посмотрим.

Старец ловко упаковал “Nikon” в чистую махровую тряпицу, аккуратно уложил в рюкзак, который затем привычным движением приладил за спиной, разгладил лямки и... хоть сейчас в путь. Глаза его ярче засинели, было видно, что он хорошо отдохнул. “Да он ещё крепкий старичок”, — подумал я, глядя на его жилистую, юркую фигурку.

— Под девяносто уже катит, — словно читая мои мысли, сказал старец, легко преодолевая довольно крутые ступеньки крыльца, с восхищённой умильностью заглядываясь на правильные, словно подстриженные, начинающие желтеть, благородные кроны двух лип перед входом в дом. — А как сейчас помню: вот здесь, у крылечка, у этих деревьев — были они поменьше, послабее, турничка не было — подводу, которая должна была доставить нас с мамой на вокзал; помню коричневую кобылку, с атласной шерстью на крутых боках, длинную конскую гриву до оглобель; отца в лёгком подряснике, хотя было уже прохладно, — он помогал укладывать на телегу вещи; лёгкий сырой туман предзимья, влажные, скользкие листья под ногами... Восемьдесят лет прошло, — перекрестился старец на крыльце, — но, извините за банальность, всё как вчера было.

— А почему ваш батюшка с вами не поехал? — спросил я, открывая дверь в дом.

— Ему не разрешили выезд, хотя отец Александр... Киселёв хлопотал из Эстонии за всю нашу семью, — отвечал старец, заметно волнуясь, переступая порог дома.

— Тот самый Киселёв?

— Да, да — тот самый, что стал известен потом служением при храме РОА, да и не только этим... — скороговоркой, как-то машинально отвечал старец, смущённо вглядываясь в узкий, бревенчатый коридор, ведущий к деревянной, в два пролёта, лестнице на второй этаж, с освещённым яркой лампочкой входом в подвал под лестницей...

— С чего начнём? — спросил я. — Поднимемся наверх? Или, как вы хотели, прежде осмотрим подвал?

Старец, прижимая платок к глазам, только кивнул головой наверх.

— Боже, они и скрипят, как в детстве, и с таким же волшебным рисунком некрашеного дерева, — шептал он, поднимаясь по стёртым до полукружья ступенькам лестницы и прихватывая правой рукой, отполированные временем до глянца перила.

— Здесь у нас была столовая, она же гостиная, — говорил старец, взволнованно-бегло оглядывая самую большую комнату верхнего этажа. —

Удивительно, у вас такой же круглый стол посередине; а это кухня — осталась кухней; спальня родителей... А вот и моя детская, — затрепетал он на пороге моего кабинетика, — образ в правом углу над моей кроватью... только у меня была икона Спасителя, а у вас — Богоматери, — перекрестился трижды он на найденную мной случайно в одной из заброшенных деревень полуобсыпавшуюся от сырости ветхую икону Божией Матери. — Письменный стол у окна, примерно за таким же я начинал читать-писать, рисовал акварельными красками, — продолжал комментировать он, — а вот книжных шкафов не было... стоял комод, этажерка с детскими книжками, на стене висела карта двух полушарий...

— К слову, о книгах, отец Нектарий, — пригласил я присесть старца в кресло у письменного стола, прилаживаясь сам на низенький диванчик, который служил мне одновременно и кроватью. — В этих шкафах — ваша семейная библиотека... уникальные вещи — от Данилевского, Леонтьева, Нилуса, Бердяева, Розанова, Мережковского до Шопенгауэра и Ницше...

— Каким же чудом они сохранились! — легко привстал с кресла и поспешил к шкафам старец. — Да, вспоминаю, книги, много книг, стояли у отца в кабинете, который он оборудовал по примеру Толстого в большой кладовой в подклети. — Старец деликатно раскрывал стеклянные створки шкафов и гладил ладонями золото тёмно-коричневых переплётов книг. — Удивительно, их держали в руках мои... как же они не пропали... в те времена?!

Я рассказал историю с чудесной находкой в подвале.

— Так-так, — кивал головой старец, — лежали в ларе, заваленном всякой рухлядью? Отец, видимо, спрятал самые ценные перед арестом... За ним пришли, как выяснил я недавно, буквально через полгода после нашего отъезда.

— Теперь они ваши... дождались хозяина!

— Что вы, добрая душа! — вполборота повернулся ко мне старец и стрельнул в мою сторону благодарным взглядом. — Они открылись, словно из небытия, вам, они дождались вас... и, как я вижу, впрок... Ну, если только, — добавил он после паузы, — возьму одну какую-нибудь на память... Не приходилось встречать с пометками, записями на полях, значками какими-либо? Вот её бы и взял, вдруг это рука отца или деда!

— Слушайте! — вдруг осенило меня. — Мне попался фолиант в обложке из кожи, — прекрасной, толстенной кожи, — написанный от руки, на старославянском... Я, к сожалению, не силен в старославянском, но это что-то похожее на домовую книгу, приход-расход, заметки о повседневных делах... Вам, святой отец, должно быть это интересно — там своего рода, как я понимаю, история вашего дома! Хотя, — осознал я свою “деликатность”, — вы можете взять, повторяю, всё, что вам понравится...

— Покажите мне эту книгу! — так и засветился в каком-то нетерпении старец.

— Дай Бог памяти, куда я её положил, — засуетился я, — кажется, куда-то вниз...

Я начал открывать нижние, из сплошного дерева, створки одного шкафа за другим... Старец закружил по комнате. В каком-то из шкафов фолиант был, слава Богу, обнаружен. Старец бросился с книгой к окну. С трудом удерживая её на весу, повёртывая к свету, стал лихорадочно перелистывать.

— Вы не представляете, молодой человек, что я держу в руках! — с восторгом обратился он ко мне. — Судя по всему, это записи человека, который строил этот дом, — протодиакона Артамона Смирного. Удивительно! Просто чудо! Вот что я возьму, с вашего позволения, с собой!

Глава районной администрации Крошкин совсем не соответствовал своей фамилии. Он оказался крупным, высоким, вполне представительным мужчиной. Держался осанисто, с неброской солидностью: лицо сохранял в профессиональной сосредоточенной внимательности, в человека всматри-

вался с какой-то неуловимой опаской, рта администратор раз не открывал. Глазами был “чужд белоглазая”. Глазки его подводили, портили всё... Бесцветно-пустоватые, они смотрели замершими, чуткими окуньками, готовыми вильнуть — и был таков!

Он принял нас с Мальковым сдержанно, жестом пригласил за длинный полированный стол для совещаний, сам привычно уселся во главе стола. Ни тени смущения перед московским журналистом, ни хлопотливого псевдогостеприимства — даже чаю не предложил. Во всём несуетливая деловитость, многозначительное поглядывание на недорогие, я бы даже сказал, дешёвенькие часики. Да и костюмчик, должен заметить, на нём был так себе, средненький. “Ловкий позёр! — заметит затем по этому поводу Лёха. — У него бы московским жуликам, разряженным, как новогодние ёлки, поучиться пыль в глаза народу пускать”.

— Слушаю вас, Алексей Константинович, — с приветливой снисходительностью обратился Крошкин к моему другу (чувствовалось, что они давно знакомы), когда мы расселись за столом. Лёха коротко, в тон хозяину кабинета, изложил суть дела с Мишей Васильевым.

— Понятно... Чем можем — поможем, — сказал Крошкин, встал и пошёл к селекторному пульту. — Нина Васильевна, — обратился он к секретарше, — срочно пригласите ко мне Калеватова.

Через пару минут в кабинет Крошкина колом вкатился маленький толстый человек средних лет, так же, как и начальник, одетый в неброский костюм, с чеховской бородкой и в очках с тонированными линзами.

— Леонид Михальч Калеватов — начальник управления по земельным ресурсам и землеустройству района, — представил его нам Крошкин. — Вот товарищи, — кивнул он в нашу сторону, — подыскивают для серьёзного, — подчеркнул он голосом, — очень серьёзного человека из Москвы приличный участок на Красных Холмах (вот, оказывается, как нарекли берег Боганки от города до монастыря наши чиновники; ну, что ж, для “серых пиджаков” весьма неплохо!) с выходом к реке естественно, среди сосен...

— Площадь? — навёл на нас с Лёхой непроницаемые очки землеустроитель и достал блокнотик с ручкой из бокового кармана пиджака.

— В пределах полутора-двух гектаров? — вопросительно глянул на меня Крошкин и добавил: — Больше не можем... вдоль реки, практически в черте города, за каждый метр драка идёт.

— Цена? — развязно спросил Лёха, видимо, для меня как основного посредника общения с Васильевым.

Калеватов негромко назвал, очевидную даже для меня, дилетанта, какую-то смешную цену за сотку земли в столь живописных местах. И потянулся было черкнуть что-то в блокнотике, но был остановлен многозначительным, с нажимом, взглядом Крошкина.

— Когда приезжает ваш друг? — поправился Калеватов, откладывая ручку в сторону.

— Завтра, примерно к полудню, — ответил я.

— Хорошо, — сказал Калеватов, — завтра в четырнадцать буду ждать вас перед входом в администрацию... Поедем смотреть участок, — и вопросительно взглянул на Крошкина.

— Можете идти, — сказал Крошкин и посмотрел на круглые, настенные часы над дверью: — Через полчаса жду вас с отчётом по текущим делам.

— Опытный администратор, — добавил он, когда Калеватов бесшумно укатился за дверь, — всё схватывает на лету, разжёвывать не надо, — и вильнул, словно вспомнив что-то неприятное, своими пустыми, белыми глазками-окуньками в сторону. — Будут ещё вопросы?

— Вопросов нет, Владимир Поликарпыч, — ответил Лёха, — пока...

— Пока — в смысле до свиданья, — почему-то вдруг засмутился Крошкин, пожимая на прощанье нам руки, — или?..

— Или... — неожиданно нагло подмигнул ему Лёха. Белые глазки Крошкина сделались оловянными.

— Осторожный барыга, — сказал Мальков, когда мы усаживались в его машину, припаркованную перед входом в администрацию. — Ты заметил,

как он основывал этого землемера, когда тот попытался нарисовать в блокнотике настоящую цену за сотку?

— Что-то такое припоминаю, — сказал я беспечно, так, что Лёха не удержался от снисходительного взгляда в мою сторону.

— Надо предупредить твоего Васильева завтра... Они попытаются ошкурить его по полной, — наставительно сказал Лёха, вырuling в сторону моего дома.

— Как это? — наивно спросил я. — Сумма уже названа.

— По бумагам — да! — будет проходить инвентаризационная, копеечная стоимость, — хмыкнул Лёха. — На деле сумма увеличится стократно... Вот эту окончательную цифру и хотел нарисовать в блокнотике этот жук Калеватов... Если клиент соглашается, тогда всё идёт в пакете, вплоть до подрядчика по строительству дачи. Но Крошкин тебя не знает, решил не рисковать... Вот сейчас они где-то в укромном местечке сбежались и перетирают, как тряхнуть твоего московского Буратино.

— А если он не согласится?

— Кто?

— Буратино!

— Тогда они замордуют его тысячами согласований, дикими расценками на подводку электричества, газа, воды, канализации, дорог... И он горько пожалеет, что не согласился на их правила игры, ведь они будут предлагать ему полный пакет услуг... за счёт городского бюджета. Представляешь, какая маржа у них! Триста-четырееста процентов прибыли! Никакой “нефтянке” такого даже не снилось! — восклицал Лёха, становясь с каждым словом всё мрачнее и мрачнее.

— И что, все соглашаются?

— Практически все... Тот, кто упрямится, отдаёт ещё больше, попадая в лапы “несистемных” подрядчиков, которые за ту же подводку коммуникаций заламывают астрономические суммы... Опять же почему? А потому что, чтобы выжить, они отстёгивают через посредников тому же Крошкину половину прибыли... Иначе они лишатся ментовской крыши, и их в бараний рог свернут бандиты. В общем, все идут на контакт с жуликами от власти, оно так надёжнее.

— И что, нельзя этого Крошкина со всеми его “землеустроителями” за одно место взять?

— Нельзя! — с оттенком превосходства, как несмышлёнышу, бросил мне Лёха.

— Да они просто не нарывались ещё! — разошёлся и я.

— Нарывались и нарываюются, — злобно оскалился Лёха, — только не ухватишь их... Они напрямую денег не берут!

— А кто же берёт?

— Бульдозерист Вася! — скорчил физиономию Лёха. — Тут такие схемы, что Крошкина, как говорила моя бабушка, пестом в ступе не ухватишь... Пронырливый гад!

— И что мне сказать Васильеву? — растерялся я. — Может, не надо всю эту кашу заваривать! Ведь крайним окажется кто?

— Пусть оформляет всё строго по инвентаризационной стоимости, — процедил сквозь зубы Мальков.

— Но ты же сам сказал — замордуют...

— Со мной у них с их грязными схемами не пройдёт, — выдвинул вперед свою массивную нижнюю челюсть Мальков, — я этого Крошкина-Мандавошкина!.. — ударил он резко обеими руками по баранке. — Я его предупредил сегодня, заметил? Он всё понял, кровосос неумный!

— А верно говорят, что у него семь квартир в Москве? — вспомнил вдруг я.

— Шесть. Зачем лишнее приписывать, — недобро усмехнулся Мальков, — последнюю прикупил совсем недавно... не знает, на кого теперь записать, все родственники — ближние и дальние, уже давно задействованы... жуть! По слухам, его дочка даже предлагала какой-то бедной сослуживице,

приехавшей отсюда-то из Новосибирска, за хорошие деньги на себя эту квартиру оформить... Есть у него апартаменты и в Испании.

— А история с каким-то породистым скакуном для внука? Это не выдумки завистников и сплетников? — продолжал “вспоминать” я.

— Ты и про это знаешь?! — хмыкнул Лёха. — Узнаю почерк Феодосия Пальча... Всё верно, подарил наш Крошкин лошадку благородных кровей — три “Мерседеса”! — своему внучонку на пятилетие... Говорят, мальчишку готовят в какой-то престижный колледж в Англии, как же тут без коняшек — увлечения истинных аристократов! А они же у нас теперь все в аристократы метяют!

— Он из каковских, этот Владимир Поликарпыч Крошкин? — решил я почему-то узнать об этом неприметном казнокраде как можно больше.

— Из каковских? — переспросил, ухмыляясь, Мальков. — Да, как и все мы, из столбовых крестьян! Ещё при коммунистах приехал сюда после сельхозинститута то ли из Вологодской, то ли из Костромской губернии... В совхозе, куда его направили инженером, ишачить не захотел, пристроился в райисполком, дополз до зама председателя... После великой буржуазной революции девяносто первого стремительно перекарасился в демократа; так поносил на всех митингах коммунистов, что от него шарахались, зажав носы, даже записные либералы... Но там, где надо, заметили, выбрали-назначили главой администрации... Типичная карьера постсоветского перевёртыша! — Лёха выругался. — И почему тогда либерасты не пошли на люстрацию! Всех этих крошкиных надо было в мусорный совок замести и на помойку истории выбросить! Меньше бы гнили было сейчас от этих плебеев, дорвавшихся до власти и денег!

— Так уж и плебеев? — почему-то задело меня.

— Я не об этом! — отмахнулся Мальков. — Я не о происхождении... Вот их вытаскивали к власти ещё и при поздних коммунистах по формальному признаку — рабоче-крестьянское или какое другое “правильное” происхождение, член партии, не пьёт-не курит, — а не понимали тогда, что это категории вчерашнего дня, что уже другой критерий отбора диктовала эпоха... И они все, эти детки рабочих и крестьян, как и партноменклатуры, жаждущие сытой начальственной жизни — плебеи по духу — полезли паразитами на дородное государственное тело... Они, не имеет значения, из какого они социального слоя, они очень рано все были сориентированными, они были умными, в них не было потребности идеального, они были жадными глотателями жратвы, привилегий, удобств, — и в этом смысле опять же плебеями! — они жаждали только материального успеха. За дачи, загранпоездки, шмотки и иномарки они, не чихнув, сдали прежнюю власть. Теперь заражают и отравляют своим гниением, подталкивают к пропасти нынешнюю.

— Ты сказал, другой должен быть критерий отбора во власть?

Лёха нарочито пропустил мой вопрос мимо ушей.

— К началу семидесятых годов прошлого века классовый, революционный подход при отборе во власть, считаю, полностью изжил себя! — быстро заговорил он. — Общество к тому времени кардинально переродилось, революционный энтузиазм полностью исчерпал себя, интеллигентское шестидесятиничество как последний всплеск революционной романтики боязливо уступало дорогу бескомпромиссному жёсткому диссидентству, когда в очередной раз в истории России начали вызревать мысли о радикальном сломе государственного строя. Страна стояла на развилке. И чтобы спасти великое государство, которое к тому времени очистилось от парши марксизма, важно было призвать во власть новых идеалистов, своего рода революционеров-государственников, людей, готовых повести страну не к какому-то там мифическому коммунистическому обществу, а к мировому лидерству в ведущих областях социально-экономической, научно-технической, гуманитарной мысли. Повторяю, страна перебродила к тому времени марксистской химерой, переболела ей, переварила и пережгла её в себе. Во власть нужно было набирать супертехнократов, суперинтеллектуалов, суперпрофессионалов, готовых с новым энтузиазмом служить постиндустриальной суперимперии, в которую

в то время стремительно превращалась красная империя. И это бы дало жизнь Великой России ещё на тысячу лет вперёд!

— И всё-таки, какой же критерий, по-твоему, должен лечь в основу отбора во власть? — с вызовом переспросил я. Мне не понравилось, что Лёха демонстративно перешагнул через мой прежний вопрос.

— Критерий один — нестяжательство! — снисходительно, принимая вызов, бросил мне Лёха и, притормаживая машину, искоса наблюдая за мной, скривился в своей противной, насмешливо-покровительственной улыбочке.

— Критерий твой — фантом, чушь! — сказал я, с трудом сдерживая себя. Лёхина улыбочка, в очередной раз понял я, вызывала у меня изжогу. — Критерий, не поддающийся никакому внятному определению... Стяжатель-нестяжатель... по количеству костюмов у человека, чайных сервизов, пар обуви, кепок, шляп и галстуков будем определять?

— Э, нет, тут ты пургу гонишь... из чувства противоречия, должен заметить... капризничаешь, старичок, — со вздохом согнал проклятую улыбочку с лица Лёха, — тут всё сложнее и проще одновременно.

— Ну, и...?! — гневново вскрикнул я.

Лёха остро подцепил меня краешком глаза и мягко отступил.

— Достаточно проследить за любым выдвигенцем, даже самым незначительным пупырьком типа Крошкина, в течение двух-трёх первых лет, — как ни в чём не бывало ровно заговорил он, — и всё становится ясным: пришёл этот выдвигенец служить стране и государству или набивать брюхо и мошну себе и близким. Если, не подняв ни одного гектара заросших бурьяном земель, не открыв ни одного нового производства, не проложив ни одного метра новых дорог, не прибавив ни на копейку зарплату людям, начал живенько возводить себе расписной теремок в три этажа, покупать недвижность, разворачивать собственный бизнес, записанный на жену, тещу, племянника, назначать себе любимому фантастические оклады — такого надо гнать в шею. Он заведомо не годен для государственной службы. Он порочен, неизлечимо болен стяжательством. Вокруг него образуется не точка роста, а очаг гниения. Такого выдвигенца следует безжалостно удалять, удалять пожизненно, без права второй попытки...

— А если он затаится и начнёт грести под себя не в начале, а в конце карьеры? Что делать тогда?

— Не начнёт! — жёстко рубанул Лёха. — На это должен быть закон: на одном вельможном кресле восседать не более двух сроков, лет восемь-десять! За это время можно показать, на что ты способен как руководитель — это главное, но если начнёшь под занавес этого срока набивать себе карманы — всё, дальнейшего продвижения не жди, твоя карьера государева человека обрывается навсегда!

— Круто, — тут уж не удержался от сарказма я, — и за что государы люди пахать будут? За голый оклад? Так не бывает! Все разбегутся!

— За власть! — озлился Лёха. — К власти всегда будет выстраиваться очередь, даже если в конце очереди будет ждать всего лишь чашка похлёбки... Только успевай выбирать достойнейших! И этой слабостью человеческой при выстраивании государства надо пользоваться. А мундир, шитый золотом! Ордена и награды, и прочие цацки! Президиумы! А счастье быть в свите или со свитой! А раболепие подчинённых! За такие сладкие пряники люди обычно не разбегаются, а, наоборот, втаптывая друг друга в грязь, по головам, бешено карабкаются наверх. Во власть! Вот эту психологию человека надо учитывать! — распаялся Лёха. — Стяжателей безжалостно выкидывать из насиженных мест, казнокрадов сажать жёстко и надолго, чаще ротировать и взбадривать проверяемыми чиновничье племя! Не бояться, что разбегутся. На место убежавших встанут в очередь сотни жаждущих власти. Не бояться, что окажут сопротивление, составят заговор — они трусливы. И если их почаще, как сорняки на грядке, пропалывать, сбиться в стаю они физически не смогут.

— Вопрос — кто их будет пропалывать? — прервал я горячую речь Малькова.

— Резонно, — неожиданно согласился Лёха и, бросив на меня быстрый взгляд, осторожно сказал: — Ты прав, главный вопрос — кто будет чистить эти авгиевы конюшни — государство? Или?.. — заколебался он и промолчал.

Я тоже взял паузу. Разговор неожиданно приобрёл ту опасную зыбкость и недосказанность, когда любой вопрос или реплика становились заведомо провокационными, могущими — царапнуло меня неприятное предчувствие — быть неверно истолкованными и сейчас, и в будущем.

— Возьмём того же Крошкина, — принялся сам за разъяснение Мальков. — Копнуть его на местном уровне невозможно. Глухая круговая оборона... Все — прокуратура, полиция-милиция, верхушка райсовета — все увязли в грязном криминально-воровском вареве. Давно уже поделили с бандитами наш городок на сферы влияния, крышуют рынки, торговые центры, лавчонки и прочий мелкий бизнес, рейдерствуют... Самый занюханный чиновник, самый последний мент — все имеют долю в отъёме денег у государства и торгашей — других денежных источников здесь нет... по причине умиртвления производства. С областными Крошкин тоже дружит, отстёгивает и губернатору через посредников... Всё прогнито — просто караул! Но самое главное — его московские покровители. Тут надо было так случиться, что один депутат, парламентский, — твой Васильев его, верно, знает, — с большими связями, из наших мест... родился под Своробоярском... Они с Крошкиным наладили серьёзный бизнес — коттеджное строительство на границе со столичной областью... Пахотные земли, сотни гектаров, нагло выводят из севооборота, продают московским фирмам под коттеджи. Наваривают миллионы... Ну, как этого Крошкина возьмёшь, он часть воровской вертикали уже на общегосударственном уровне! Выходит, — помолчал Мальков, — к самоочищению государство уже не способно. Остаётся что?

Я замер. Мы подъехали к дому. За забором игрушкой зеленеет симпатичный особнячок. Лёха прихватил меня за руку и не дал выскользнуть из машины, наклонился ко мне и, засверкав у самого лица бритвами сузившихся ястребиных глаз, заговорил вдруг быстрым полущёпотом:

— Остаётся надеяться, что их решительно и безжалостно срежет народ. Они допрыгаются, их будут рвать на куски, как в семнадцатом! Они не знают истинных настроений в народе. А люди, особенно здесь, в исконно русских областях, давно уже поняли: их оставили на вымирание. Все социологические замеры фуфло! Людей достала тотальная несправедливость, превращение их в быдло! Людям ненавидисто горбатиться на так называемых хозяев. Они устали от бесперспективности, когда, сколько ни работай, никогда не заработаешь на квартиру, не дашь детям серьёзного образования, не проживёшь на пенсию! Наша экономика в коматозном состоянии! И это на фоне какой-то неслыханной, дикой роскоши всех этих власть имущих, казнокрадов-чиновников, аферистов, деляг. Ненависть накопилась в народе страшная! Уровень её никакие справки не передадут, её можно уловить только кожей, соприкасаясь вплотную, ежедневно с массой народной. Скоро она вырвется, — вплотную приблизился к моему уху Лёха, — и тогда держись кровососы всех мастей! Отмщение будет страшное. Не веришь?! — больно сжал он мою руку. — Подожди, ещё увидишь! Скоро, очень скоро мы станем свидетелями нежданного, неслыханного взрыва... — на этом месте Лёха словно опомнился и заметно деланно сконструировал окончание фразы, — ...народной ярости и гнева!.. А теперь иди, любуйся... Мои архаровцы работать умеют! — довольно грубо подтолкнул он меня из машины и, не дождавшись, пока я закрою дверцу, резко тронулся с места.

“Маньяк! — ударило мне в голову. — И угораздило же меня связаться с ним!” Взглянув на свой неузнаваемый домишко, вспомнил, что забыл спросить у Лёхи смету расходов на ремонт. Хибара моя стояла, как невеста на выданье. Обшитая светло-зелёным сайдингом, она удивительно похорошела, подобралась, стала как-то выше и респектабельнее. Вполне недурственным особнячком уже смотрелась. “Смету надо завтра жёстко потребовать, — подумал я, — решительно! Обязанным ему оставаться нельзя!”

Я обошёл вокруг дома. Ничего не скажешь, работа была проделана качественно: ни одного небрежно подогнанного угла, ни единой, самой малой

щёлки между панелями, всё смонтировано аккуратно и красиво. Было уже около восьми вечера. Но в подвале ещё работали. Тонким, впивающимся в уши визгом заходила циркулярка, бешено въедалась во что-то очень твёрдое дрель, затаённо резонировала под ногами земля от перфораторов. Я стоял с глухой стороны дома, выходящей к реке. “Странно, — подумалось мне, — почему вибрирует земля даже в несколько шагах от дома, неужели такие глубокие шурфы бьют?” Но голова моя была занята другим. Я думал о Лёхе и решал, приглашать или не приглашать на завтрашнюю встречу с Мишей Васильевым Никанорова. “Может, прав Лёха, разнесёт всё потом по округе...” Побродил в саду, прикинул и набрал всё-таки по мобильному Феодосия Павловича. Решил, что надо пригласить. Интересные мыслишки зародились у меня в голове вокруг Лёхи и старика.

5

Ночью неожиданно обрушился на город тяжёлый, секущий ливень. Над домом разыгралась настоящая стихия с хлесткими, порывистыми накатами ветра и воды. Мне снился сон: я стою над пропастью. Я трепещу. Я замираю. Я на волоске от гибели... Я резко вздрогнул и проснулся. Дождь громко бивал тысячи гвоздей в пластмассовые рейки сайдинга. Прежде такая непогода только уютно шуршала по камню толстых стен. Располагала к покою и сну, если случалась ночью. Теперь она будила и пугала. “Надо было стены просто покрасить, — с тоской подумал я, — кому нужен этот дурацкий барабан из пластмассы... И всё Лёха!” Тревога от дурного сна сливалась с тревогой ночи. Бессонная маята на два-три часа была теперь обеспечена. Я знал себя. Стоило прозойти разрыву сна, особенно под утро, ворочаться потом приходилось часами. Со мной это обычно происходило от какого-то внутреннего перегрева. Нервишки у меня, признаюсь, дрянь. Если меня что-то заводило, то доводило потом до самоедского изнурения. А заводило меня в этой быстро набирающей невнятный, мутный оборот истории многое, даже чрезмерно многое... Зачем эти однозначно маскируемые отношения Лёхи с главным военным из Заречья? Что стоит за его неожиданными откровениями о каком-то народном гневе? Озлобление неудачника? Комплекс провинциального “человека из подполья”? Ведь турнули же его из Москвы, хотя поначалу складывалась совсем иная карьера! Или это просто присущая ему с юности игра в оппозиционность? Ну, уж больно радикальная эта оппозиционность, вспоминал я злобный Лёхин полушёпот. Зачем понадобился я ему во всей этой истории с часовней, если командир части был уже у старца, и тот не без успеха, как понял я, ходатайствовал у самого Святейшего? Почему так вцепился он в приезд ко мне Миши Васильева? Я извёлся вопросами, извертелся в постели, несколько раз вставал, вглядывался в затихающую бурю за окном, пил тёплую воду с мёдом — где-то читал, помогает от бессонницы. Не помогало. И ещё этот страшный, не сулящий ничего хорошего сон. К снам я отношусь серьёзно... С трудом заснул, когда комната стала наполняться серой размытостью предраسمетных сумерек.

Поспать не дали. По ощущениям, где-то часа через три-четыре заелозил-завибрировал на гладкой поверхности письменного стола мобильный телефон.

— Стучу, не слышит... Ну, и здоров же ты дрыхнуть! — раздался в трубке Лёхин голос.

— Который час? — буркнул я. Состояние было скверное. Болела голова.

— Скоро десять, — недовольно отозвался Лёха, — как бы твой приятель не подкатил... Я угощенье привёз. Вставай.

“Кто тебя просил, с твоими угощениями!” — едва не сорвалось у меня. Наскоро умылся, оделся и вышел к Малькову.

Утро выдалось пасмурное, холодное. Дождь прошёл. На дворе стояли прозрачные лужи. С деревьев капало. Лёха наломал веник из вишенника и счищал воду с нападавшими листьями со стола под липами, расставлял полиэтиленовые пакеты с продуктами. Одет он был соответственно погоде и обстоятельствам — в толстую байковую ветровку с кашпоном.

— Как-то неуютно тут после дождя. Может, сразу к “Вадику”, в тёплый теремок? — предложил Лёха. — Обед уже заказан.

— Скоро подсохнет, — попытался скрыть раздражение я. Меня завело, что он уже и обед заказал. — Сколько я должен? — грубо сорвалось у меня.

— За что? — чутко ощетинился Лёха.

Я вспомнил свой решительный настрой вчера.

— И за это, и за то! — показал на продукты и на дом.

— Ну, что ты за человек! — кисло сморщился Лёха. — Благородное общее дело затеяли, а он со своим самолюбием, уязвлённым, как ему кажется, лезет. Пойми, для меня это копейки... Но дело не в этом. Ты искренне откликнулся на моё предложение, тебя даже на секунду не посетило желание что-то с этого поиметь. Я же вижу! И мне это нравится. Вот это и есть нестяжательство! Вот таких, как ты, надо во власть... Для тебя я всё делаю от души, как... для правильного человека. Хотя, как ты понимаешь, я далеко не альтруист... Я привык брать, а не отдавать. Даже не брать, а забирать. Забирать, отбрасывая все сантименты. Старец-то твой позавчера меня быстро раскусил, я это почувствовал. Не было у этих душеведов! — в сердцах бросил Лёха. — И без них тошно... Ты думаешь, легко заниматься нашим сраным российским бизнесом? Он весь построен на обмане, подлости и насилии. Зачем нам эта запоздалая отрыжка капитализма! Капитализм не прививается у нас, народ его отвергает. Наши люди не хотят жить только ради денег. Они действительно устроены по-другому, у них другая духовная природа. Как будто кто-то устроил великий вселенский эксперимент: одни народы — за Мамону, другие — против... Наш народ однозначно против! Поэтому так ничтожен процент у нас тех, кто занимается наживой, этим так называемым бизнесом... Поэтому так нагло орудует в стране кучка мародёров, выводя из неё капиталы, ресурсы, обескровливая страну. Народ с недоумением и ужасом взирает на шайку разгулявшихся, меры не знающих воров: когда же это всё прекратится?! Но, похоже, недоумение проходит. И всё чаще люди спрашивают, — Мальков порывисто прижал руку к сердцу, — поверь, я знаю это точно, слышал в самых доверительных разговорах тысячи раз... Всё чаще люди спрашивают: а может, всю эту банду пора поставить на место? Жёстко поставить! Как может это сделать только доведённый до отчаяния народ!

— Лёша, а может, ты всё это придумал? — как можно мягче спросил я, не без тревоги вслушиваясь в неожиданные с утра, пафосно-обличительные речи Малькова. — Согласись, при этом капитализме что-то делается, и немало людей в него вовлечено... Вот едешь из Москвы, вдоль дорог завязывается новая логистика — склады, торговые центры, заправки, кафешки. Сколько новых добротных домов поставлено... Люди строят для себя капитально, на века. Это уже не извечные наши серые избы... Оборонный комплекс оживает. Может так, исподволь, без рывков и лишнего шума всё и поправится? И лет через пятнадцать-двадцать миру предстанет Россия обновлённая, сильная и ухоженная? Может, не стоит поднимать волну в очередной раз? Как бы последнее не потерять. Может, стоит раз и навсегда успокоиться и жить, как все? Что тут ещё, кроме капитализма, придумаешь, когда с социализмом не получилось?

— И я так же думал, Кирилл, — живо отозвался Лёха, — до поры до времени, правда... — криво улыбнулся он. — Когда вошёл в круг хозяйственников, политиков, разных там влиятельных людей, возмечтавших о национальном, производящем и строящем капитализме... Но нас смяли, жёстко предупредили — в большую игру лучше не суйтесь, курс выбран другой...

— После чего твой дядя, который к тому времени уже работал в Администрации, рассказывает, порекомендовал тебе удалиться из Москвы? — неожиданно сказал я.

— Всё знают столичные журналисты, просто жуть... — насторожившись, усмехнулся Лёха. — И мудро поступил, надо отдать ему должное, — перевёл он усмешку в подобие улыбки на лице, — иначе я бы не беседовал с тобой тут... Мог и на нарах очутиться... придрались бы к чему-нибудь, я же и в Москве купечествовал...

— Давно хотел спросить, как зовут твоего непростого дядю? Он, по-прежнему... во власти?

— Как зовут, это тебе вряд ли что-то скажет, — уклончиво сказал Лёха, подумал и почему-то добавил: — Ну, Шатров... Николай Всеволодович... Ему уже под восемьдесят, какое во власти! Кстати, собирается написать что-то вроде мемуаров... Как с Борисом Николаичем подружился, как работали вместе, ну, и всё такое прочее. Ищет в помощники толкового журналиста, может, ты попробуешь? Он вообще-то при деньгах.

— Вряд ли, — отмахнулся я, — быть литрабом — не моё... пробовал. Исполнять графоманские прихоти вельможных старичков — это всё равно, что горшки из-под тяжелобольных таскать.

— Хорошее сравнение, — рассмеялся Лёха.

“Шатров, Шатров, — завертелось у меня в голове, — где я слышал эту фамилию? Совсем недавно, что-то очень знакомое...”

— И какой же курс, по-твоему, выбран, как ты говоришь, в большой игре? И кто его выбрал? — вернулся вдруг я к Лёхиной недосказанности.

— Курс один, — посуловел Лёха, — вступление в капиталистический интернационал, так называемое встраивание России в мировой рынок, международную систему хозяйствования... И выбрала его неизменная в своей сущностной основе, с начала девяностых пребывающая у власти узкая корпорация людей, своего рода секта, спаянная единым мировоззрением, единой волей, едиными задачами.

— Насчёт секты — не знаю, — пожал я плечами, — а вот то, что существует международное разделение труда, так это ещё со времён Маркса известно, и Россия для того, чтобы жить, должна занять своё место на мировой финансово-производственной площадке. Что тут не так?

— Вот, именно — на финансово-производственной... — Лёха выделил голосом последнее слово. — Мы должны предложить миру то, что мы умеем производить, — снова подчеркнул он, — что умеем делать! Делать качественно, на высшем уровне, так, как ни у кого больше не получается! Понимаешь?

— И что же? — наверное, глупо спросил я.

— А то, что вот уже двадцать пять лет — двадцать пять лет! Вдумайся в эту цифру! — Россию упорно и методично превращают в сырьевой придаток этой пресловутой международной системы хозяйствования! — взъярился Лёха. — Ни о каком производственном развитии России, её месте на мировом рынке высоких технологий, инноваций, прорывных идей и речи не идёт. Наоборот, мы всё меньше производим, всё больше продаём сырья, всё больше завозим. И этому нет конца! Мы умираем! Как высокоорганизованное, высокоинтеллектуальное сообщество! Ты говоришь, что может вот так потихоньку-полегоньку, не прикладывая особых усилий, мы лет эдак через пятнадцать-двадцать собьём маслице, как та пресловутая лягушка в молоке, и явим миру лицо новой, с иголки, передовой, развитой России. А я тебе говорю, что с такой усыпляющей философией дела, с такими приоритетами, с таким воровством и безответственностью чиновников, с таким накалом разграбления национальных богатств, как сейчас, через двадцать лет России не будет! Будут дымящиеся развалины! Верные и последовательные практики той модели развития, которую нам предложила в начале девяностых преступная секта так называемых реформаторов, продолжают с маниакальной методичностью затягивать смертельную петлю на шею великого народа. То, что ты говоришь про какое-то оживление вдоль больших дорог, логистическую инфраструктуру, новые постройки, дома и прочее, всё это лишь слабые пунктирные признаки жизни, едва заметное шевеление умирающего гигантского тела. Но нас ещё не додушили. И мы должны, собрав последние силы, волю и мужество, разорвать удавку, задышать полной грудью! Сейчас или никогда! Прочь морок медленной смерти, подслащённой пилюлями о мнимом возрождении, стабильности и духовных скрепах! Пора решаться! Пора действовать!

На последних словах ястребиные глаза Лёхи стали тёмными и засверкали. Он выпятил вперёд и без того выдающуюся нижнюю челюсть и стал как-то смешно похож на один исторический персонаж. Вылитый дуче! Впору было

рассмеяться, но тут, похоже, было не до смеха. “Точно — большой! Безумец... Такой может решиться на всё”, — вновь тревожно шевельнулось во мне. На что “на всё”, объяснить я бы не смог. Я только почувствовал, что Лёху распирает какая-то сильная, овладевшая им полностью идея и что сейчас, именно вот сейчас в нём всё трепещет и вибрирует от желания выпалить его, поделиться со мной. Пусть даже потом он тысячу раз раскается, что по какой-то мимолётной слабости и тщеславию посвятил меня во что-то очень важное и скрываемое от всех, но уж очень остра и значима для него была идея, чтобы не искушаться познакомиться с нею и других. Он кривился и кусал губы. Мне его откровения, подсказывала интуиция, были бы лишними... Лёха сделал несколько глубоких вдохов, овладел собой и принялся раздражённо выкладывать снедь из пакетов. Спасительная пауза разлилась в воздухе.

А между тем распогодилось. Вот-вот должно было прорезаться сквозь остатки туч солнце, стало заметно теплее. Деревья бодрее зашумели подсыхающей листвой. Почему-то не шёл Феодосий Павлович, хотя мы вчера договаривались где-то на одиннадцать. Я сходил в дом за клеёнкой и скатертью, прихватил заодно и домотканые, деревянные половички, Бог весть откуда взявшиеся у нас, чтобы накрыть отсыревшие скамейки у столика.

— Шатра не хватает, — с нарочитой внимательностью, притапливая ещё бродившее в себе волнение, поглядел по сторонам и на небо Лёха, — у меня где-то валяется непромокаемый дома. Может, сгонять?

И тут мне вспомнилось: Шатров! Это была фамилия командира воинской части из Заречья. Мне рассказывал об этом старец.

— Не успеем, пока ты съездишь, пока твой шатёр натянем... тут Миша подкатит... Только лишнюю суету разводите. Слушай, — вдруг сказал я как-то помимо своей воли, — главный командир из Заречья — Шатров, твой дядя тоже Шатров... фамилия нечастая... И говорят, вы с военным похожи, как братья...

— Сам догадался? Или это опять твой старец-ясновидец узрел! — злобно вдруг ощерился Лёха.

— О чём догадался? — не сразу понял я.

— Брось дурака валять, Кириуха! — резанул меня взглядом Лёха. — Ну, брат он мне! Родной, по крови, брат!

— А почему фамилии разные? — только и нашёлся, что сказать я.

— Родители развелись, когда мать была уже беременна Бориской, — нехотя, морщась, отозвался Лёха, — когда брат родился, дала ему свою девичью фамилию... Как и у её родного брата, моего дяди... Шатров.

— Никогда не слышал, что у тебя есть брат. И ты никогда об этом не говорил... странно, — пожал плечами я.

— Да как-то не приходилось... Борька с раннего детства жил у дяди, тот был бездетный и практически усыновил брата. Ну, в общем, — стал как-то поспешно закругляться с откровениями Лёха, — вырос Бориска в Москве, здесь появлялся редко... В Москве он и школу закончил, и в престижное ракетное училище поступил... элитный мальчик...

“Бориска, Борька, элитный мальчик...” — какое-то пренебрежение и лёгкая ирония звучали в словах Лёхи, когда он говорил о брате. А между тем братец-то Лёхин, получалось, действительно был командиром нашей ракетной дивизии в Заречье. Генеральская должность. Особая ответственность. То, что в лесах за рекой стоят в шахтах ракеты стратегического назначения, с ядерными боеголовками, в нашем городке было известно даже младенцу в люльке. Так что, выходило, большой человек был этот Бориска. Завидует, похоже, Лёха более успешному младшему брату, вот и небрежничает, — таково было моё первое ощущение от всей этой неожиданной, странным образом выплывшей из ничего любопытнейшей истории.

— Однако ты конспириатор, — может быть, излишне серьёзно, может быть, даже мрачно, сказал я.

Для пользы дела надо было как-то повеселее, полегче обойтись в эту минуту с Лёхой. Глядишь, и ещё что-нибудь такое же интересное рассказал бы...

Лёха на мгновение растерялся, но, быстро овладев собой, с вызовом посмотрел на меня:

— Хочешь сказать, втёмную использую тебя?

Меня неприятно кольнуло это “втёмную... использую”. В Лёхином вопросе, в той интонации, с которой он был задан, звучало и некое утверждение, некий подтекст и определённый положительный ответ. Так показалось мне, и я завёлся с пол-оборота.

— Зачем я тебе нужен? — вскинулся я. Из меня так и попёрла ночная бредятина. — Ты темнишь, хитришь! Вся эта история с часовой! Твой брат был у старца с письмом, тот ездил к Патриарху — всё может решиться и без меня... Ты же знал об этом! Зачем тебе я понадобился?!

— Брат был у старца? — остолбенел Лёха.

— Да, старец мне об этом рассказал...

— Зачем? Зачем он это сделал?! — простонал Лёха. — Мы же договаривались, только письмо с нарочным!

— О-о, а здесь кипят шекспировские страсти на фоне новых декораций! — Калитку с улицы отворял Феодосий Павлович и показывал рукой на обновлённый сайдинг дом. Лёха потускнел и выразительно посмотрел на меня. Мне стало стыдно за вчерашнее эмоциональное решение пригласить всё-таки Никанорова как бы наперекор Лёхе, а более всего я почувствовал себя неловко за неприличные мыслишки столкнуть их при встрече, чтобы хоть как-то прояснить темно и невнятно складывающуюся, но в чём-то вдруг приоткрывшуюся общую ситуацию. Я подумал было извиниться перед Лёхой, но вместо этого тихо, пока не подошёл Феодосий Павлович, промямлил что-то банальное о том, что гостя из Москвы предстоит угощать не тольколангетом у Вадика Кригера.

— Делай, что хочешь! — махнул обиженно рукой Мальков и, сухо поздоровавшись с подошедшим Феодосием Павловичем, принялся нервно расставлять бутылки на столе. Какое-то нетерпение вселилось в него с этого момента, весь оставшийся день и вечер, вплоть до расставания в глухой ночи, мне казалось, он подгоняет время, чтобы как можно быстрее разрешить для себя какую-то неожиданно появившуюся острейшую проблему.

Феодосий Павлович, облачённый в куцый, тесноватый плащик откуда-то из семидесятых годов прошлого века, в беретке с хвостиком на макушке, с развевающимися на ветру седыми космами, в высоких резиновых сапогах, производил впечатление, как бы сейчас сказали, фриковатое. Во мне ворохнулось сожаление, что я пригласил его. Впрочем, это чувство было весьма мимолётным, в целом я всегда был рад старику. Едва мы успели перебраться с ним парой фраз — он одобрил обшивку дома сайдингом, похвалил цвет, — как у ворот остановился забрызганный грязью тёмно-синий внедорожник и над невысокой изгородью со стороны улицы замаячила лохматая, с хищным профилем голова Миши Васильева. Было около двенадцати. До встречи с Калеватовым оставалось два часа. Можно было ещё и посидеть как следует.

Когда вышли достаточно, Миша предложил мне проветриться и познакомиться его, как он выразился, с “имением Прилукиных”. Я показал ему дом, сад... Спустились по косогору на берег речки.

К полудню заметно разгулялось. Солнце и ветерок быстро сушили землю. От подпревающей с корешка травы потягивало уже горькими, чистыми запахами предосенья. Весело отпевали лето кузнечики. Становилось жарко. Миша снял дорожную кожаную куртку.

— Хорошо у тебя здесь... хорошо! — с чувством сказал он, потягивая тонким горбатым носом воздух. — И что я к тебе раньше не приезжал? Благодарять какая! Когда студентами были, помнится, ты меня не раз приглашал... И сколько у тебя земли тут?

— Полгектара... Тебе будут предлагать полтора-два, там, — показал я ему рукой вниз по течению, — среди сосен, с выходом к реке — живописнейшее место!

— Полтора-два гектара? — переспросил Миша. — И что мне с ними делать?!

Странная реакция Васильева, признаюсь, меня озадачила. Обычно в таких случаях люди меры не знают — чем больше, тем лучше.

— Если тебя что-то по цене напрягает, — тоном знатока сказал я, — то по инвентаризационной стоимости это выйдет недорого. Мальков, тот, который с челюстью... подскажет, как надо делать.

— Посмотрим, посмотрим, — уклончиво протянул Миша. — А что за фрукт этот Мальков? — небрежно, как бы между прочим, вкрадчиво спросил он.

— Местный предприниматель, у него тут серьёзный строительный бизнес, — сказал я. — Мы приятели ещё со школы... — Мишина вкрадчивость меня насторожила, распространяться особо я не стал. — Между прочим, если решишься здесь строиться, лучшего подрядчика не найдёшь: сделает всё на совесть и... лишнего не возьмёт, — зачем-то приврал я, вспомнив рассказ Феодосия Павловича, как Мальков делал ремонт редакции.

— Как тебе? — насмешливо посмотрел на меня Миша.

“Откуда он знает? Странно, — подумал я, — за столом об этом, вроде бы, речь не заходила”.

— И как мне, и как многим другим... он тут каждому второму что-то строил.

— А что ему далась эта часовня? — задался неожиданным вопросом Миша. — Денег она не принесёт...

— Говорит, вояки попросили, — пожал плечами я.

— А он не отказал, — заиграл своими коричнево-шоколадными, с искрой, всегда непроницаемыми глазами Миша, — филантроп, значит?

Я промолчал. По каким-то неуловимым признакам в Мише угадывалась определённая осведомлённость. Казалось, он что-то знает. Как бы к чему-то уже подготовился. И это понуждало меня к сдержанности.

— А вот старик — забавен, — неодобрительно пощупал меня взглядом Миша, — интеллектуал, философ, краевед. Такой должен втайне от всех роман-эпопею ваять... Глыба, мощь уездного разлива.

— Очень неплохой журналист и — без иронии — действительно интеллектуал, — сказал я, твёрдо решив особо не распространяться, — учил меня писать, я был у него в отделе юнкором.

— Вот как... “Старик Державин нас заметил...” — механически отозвался Миша, он явно думал о чём-то своём.

В монастыре зазвонили к обедне. Колокольный звон густым эхом докатился до нас по реке.

— Я слышал, в вашем монастыре появился новый старец, — сказал Миша, вслушиваясь в басовитую речь колоколов, — интереснейший, говорят, человек и zelo премудрый. Вот бы с кем познакомиться. — Васильев бросил на меня испытующий взгляд.

“Знает, всё знает”, — подумал я и снова решил ничего не говорить о том, что знаю.

— И чем же он интересен, этот старец? — спросил я как можно беззаботнее.

— Ну, как же, — ответил, усмехнувшись, Миша, — живая история, можно сказать... да ещё какая! Был алтарником в походной церкви власовской армии... вместе с небезызвестным протоиереем Александром Киселёвым, так сказать, окормляли, — в голосе Миши зазвучали ироничные нотки, — “третью силу”... После войны не стал искушать судьбу, скоренько перебрался из Германии за океан, как и большинство недобитых, недоваданных власовцев...

Договорить нам не дали. На косогоре появились Лёха с Феодосием Павловичем. Лёха энергично показывал на часы. Пора было отправляться на встречу с Калеватовым.

...Мише предложили, на мой взгляд, роскошный участок. С высокого, чистого увала, заросшего соснами (мы насчитали за полсотню высоченных, золотистых красавиц), открывались наши неповторимые дали Заречья. Это, если смотреть на восток. На юг, лежал, как на ладони, сказочной картинкой монастырь с его золочёными главками церковей и зелёными шатрами сторожевых

башен. На север хорошо просматривался наш городок, тоже весьма живописный издалека. Чего ещё желать? Участок, как и договаривались у Крошкина, выходил широким пойменным лугом к самой реке, в этом месте с естественными песчаными отмелями. Какой можно будет пляж оборудовать! И площадь, умно наблюдая за Мишей из-за дымчатых стёкол очков, Калеватов пообещал прирезать ещё на полгектара.

Все дружно советовали Мише соглашаться. Тот, приговаривая “чудесно, чудесно!”, мерил широкими шагами участок, словно прикидывая план будущего владения. Вспоминая потом этот эпизод, я подивился особенной ловкости Миши и благодарное расположение к сделке проявить, и не сказать при этом ни да, ни нет. Калеватов даже какими-то бумажками начал шуршать из папочки, которую носил с собой, плотно зажав под мышкой. Миша, говоря “роскошно, роскошно!”, вертел бумажки в руках, задумчиво возвращал и спешил осмотреть “свой” берег реки. Мы были все слегка под хмельком (под соснами и Калеватов приложился несколько раз к бутылке с виски, предусмотрительно захваченной кем-то из дома), ничего не замечали, в унисон нахваливали место. Только один раз Лёха — он пил весьма умеренно, всё-таки за рулём — пристально всмотрелся в Мишу. Мне показалось, он понимающе, как мог только он, ухмыльнулся. Но это была какая-то секунда, миг. В целом Лёха, как и все, вёл себя радушно и деликатно.

Но вот Миша по ходу встречи повёл какую-то свою игру. Впрочем, это были заметы ума моего уже нетрезвого, размягчённого приличной дозой спиртного... Васильев аккуратно, исподволь стал сблизиться с Лёхой, демонстрируя ему своё самое дружеское расположение. Отчего Феодосий Павлович, как мне показалось, немного возревновал и на время капризно замолчал со своими историями о былом величии Свободярска. За обедом “У Вадика” Миша даже предложил тост “за вечную соль земли русской — её нынешних, национально мыслящих предпринимателей, будущих мамонтовых, морозовых, рябушинских, которые со своим национальным капиталом выведут Россию на новые высоты процветания и могущества”. Чего было больше в Мишиних словах — желания подольстить почему-то Лёхе, издёвки или какого-то скрытого смысла, — я сразу не разобрался. Пожалуй, было в них и то, и другое, и третье... Я это сразу почувствовал. Научился, шельмец, ловко втирать. Но странное дело, Лёху Мишин тост растрогал. Я бы даже сказал — проиял! Я не верил своим глазам: обычно холодноватый, насмешливо-отстранённый, Лёха разволновался и чуть ли не полез к Мише с объятиями. С трудом сдерживая дрожь в голосе, он взял ответное слово и провозгласил здравицу за тех, кому дорога Россия, кто куёт сейчас её будущие победы и кто готов отдать не то что последнюю рубашку — жизнь за её возрождение. И ещё он сказал, что России нужна своя национальная элита и что только такая элита может не стяжать, а строить и созидать. Впрочем, Лёха к тому времени тоже изрядно набрался, и я отношу его эмоциональный всплеск исключительно к расслабляющему действию алкоголя. Словом, школьный друг меня удивил. А вот институтский, мне показалось, только изображал, что он принял лишнего. Я хорошо знал по студенческим временам, каким бывает Миша по-настоящему выпивши. Мне не понравилось, как жадно он вслушивался в Лёхины речи. Словно протоколировал. Я подумал, что Мишин тост был осмысленно провокационным. А Лёха? Неужели Лёха мог так просто-душно повестись? На него это было не похоже.

Что было дальше — помню плохо, фрагментарно. Осталась в памяти сцена, как Феодосий Павлович без плаща, но в берете, горшком надвинутым на уши (видимо, дымно выпивали уже на посошок), дирижируя наполненной рюмкой и расплескивая водку, поёт на мотив “Варшавянки” “В царство традиции дорогу // грудью проложим себе!” Помню побледневшего Лёху, часто поглядывающего на часы и с какой-то решительной жесточённостью уехавшего в ночь на своём джипе, несмотря на уговоры отправиться ему, уже солидно принявшему, домой на такси. Запомнился с плутовато-сдержанной улыбочкой Миша, галантно, но уже с долей определённой фривольности ведущий в танце рослую, накрашенную девушку в кокошнике. Запечатлелся

остатками разума и колобок Калеватов, потерявший во хмелю где-то очки и в своей близорукой беззащитности показавшийся вполне свойским и симпатичным парнем... Развозил нас по домам, еле живых, на своей "Газели" хозяин заведения, румяный молодец Вадик Кригер.

...Ночью, в условленном месте, на лесной дороге съехались двое. Выключили двигатели, потушили фары. Одновременно вышли из машин, прислушались, дали привикнуть глазам к темноте, молча шагнули навстречу друг другу. Поздоровались, сдержанно обнялись.

— Ты, я вижу, хорошо принял сегодня? — тихо сказал один, пониже ростом и по фигуре потоньше и постройнее, — что за спешка? Ты выдернул меня из постели.

— Пришлось выпить, разоблачал одного подосланного... надо было восторженным пьяным дурачком прикинуться, — неохотно ответил другой, помассивнее, покрупнее.

— Ну, как — разоблачил? — хмыкнул ростом пониже. — Тебе везде подосланные мерещатся.

— Лучше так, чем быть наивным допущком... Тебя кто просил в монастырь ездить? — властно и грубо надвинулся тот, что был покрупнее. — Исповедаться решил?

— А что? — с вызовом прозвучало в ответ. — Исповедь, говорят, облегчает душу.

— Сомневаться начал?... Я так и знал! Но ты пойми, назад дороги нет! Груз уже на месте! — Тот, кто был повыше, приблизил лицо к собеседнику и горячечно зашептал: — Не надо тебе с ним знакомство водить! У тебя же всё на лице написано. Он тебя враз отсканирует и расколет. Ты что, хочешь всё погубить? Наши предки за веру сжигали себя. Шли до конца... А мы, как последние ничтожества, остановимся на полпути? Если не мы, то кто?! Сомнения приводят к предательству! Ты же не станешь предателем, брат?!

Тот, что был ростом пониже, вздрогнул и отступил на полшага.

— Не совершаю ли я предательства другого? — тоскливо вырвалось у него.

— О чём ты?! — вскричал тот, что покрупнее, и, напрягая всю силу взгляда, магнитно всмотрелся сквозь темноту в собеседника. Темень расступилась, и он увидел бледное, словно посмертная маска, искажённое отчаянием лицо. Мурашки побегали по его спине, и он с суеврным страхом перекрестился. — Какое другое предательство? — снова вскричал он в гневливом раздражении.

— Предательство того, что живо... всегда... помимо всяких правил и режимов, — медленно подбирая слова, ответил тот, что был ростом пониже.

— Ах, вот ты о чём! О том, что принято называть Отечеством? — быстро заговорил тот, что был покрупнее. — Режимы приходят и уходят... а что-то там остаётся! Старая песня... Так вот, не Отечество, а мёртвую пустыню оставляют нам нынешние власти. Себе — цветущие виллы и особняки, там, на Лазурных берегах... или на берегах Темзы, а нам — мёртвую пустыню! Они оставляют нас на вымирание! Пойми ты это! И это надо решительно останавливать, а затем — восстанавливать. Из руин восстанавливать наше любимое Отечество. Вот на что мы идём! Что же тут предательского? Предатели — это они... И выбрось всякую чушь из головы. Русским не свойственна рефлексия... Будем решительны и последовательны, без дребезжания и раздвоенности, и тогда всё у нас получится! Ты понял меня, дорогой ты мой человек! — голос у говорившего дрогнул и наполнился теплотой. — А к старцу больше не ходи! Чую, не случайно этот психотерапевт здесь появился... Договорились?

Тот, что был ростом пониже, молчал.

— Договорились?

Собеседник нащупал в темноте руку того, кто был покрупнее. Сильно и преданно сжал её... Расставаясь, они горячо обнялись.

Удивительно, но утром я проснулся после вчерашних возлияний довольно свежим. Обычно с похмелья я сильно страдаю и болею. Болею и физически, и нравственно. То, что обычно голова раскалывается, это ещё полбеды, хуже другое — когда тёмная хмарь заползает в душу. Неясные страхи, невнятные угрызения совести, какая-то тревожная мусть на сердце обычно преследуют меня, когда я принимаю лишнего. Тут же всё было довольно сносно, можно сказать, проснулся я бодрячком. И голова была вполне ясная, и духом был вполне здоров. Вот что значат вышивка в приличной компании, качественные напитки, свежий воздух и правильная закуска. “У Вадика” столоваться можно, окончательно решил я, вспомнив тушённое с овощами мясо в горшочке, извлечённое с пылу с жару из настоящей русской печи; развалистые, сочные гречишники; пирожки с картошкой, луком и яйцом; солёные огурчики с местных грядок и упругие грибочки из наших своробоярских лесов... Молодец Вадик Кригер, сумел наладить русскую кухню, думал я, ещё сладко подрёмывая после пробуждения на своём удобном, аккуратном диванчике, когда, постучав, в комнату вошёл с двумя бутылками пива Миша Васильев.

— Крепко мы, однако, набубенились вчера, — сказал Миша, протягивая мне одну из бутылок, — освежись, настоящее баварское, как знал, прихватил вчера пол-ящика у шефа в буфете.

— Прямо из Германии? — спросил я, принимая пиво.

— Прямее не бывает, — благодушно и с удовольствием отвечал Миша, — попробуй, почувствуй разницу между нашим как бы немецким и этим... настоящим немецким.

Приподнявшись на подушках, я сделал несколько глотков из горлышка. Пиво действительно было отличное, как разливное в баре где-нибудь там, на неметчине.

— Хороший продукт пользуют в вашем спецбуфете, — похвалил я, — привет от ЦК КПСС.

Миша улыбнулся непроницаемыми шоколадными глазами.

— Элита кушает всегда особенно... Не будешь прикармливать, во всех смыслах, неповиновение окажет. Кстати, — сказал он, устраиваясь в кресле напротив и вытягивая ноги на полкомнаты, — водка была вчера превосходная, как выяснилось, местная, а не хуже, чем из спецбуфета. Скажи, где кушать, прихвачу в Москву пару бутылочек...

— Это надо у Малькова спросить, он на местном ликёроводочном покупал... тоже, говорит, с какой-то спецлинии.

— Без спецбуфетов и спецлиний нам, похоже, не прожить при всех режимах, — осклабился Миша. — А Мальков — этот тот, который с челюстью, которого Лёшей зовут? — небрежно спросил он, прекрасно зная, о ком идёт речь.

— Он самый, — кивнул я.

Миша задумался.

— Закрытый человек, достаточно националистично настроен, неглуп... Такое ощущение, что раздавлен, как говорил классик, какой-то идеей... Такой либо удивит, либо обкакается на весь свет. — Васильев вопросительно взглянул на меня.

— Пора вставать, — сказал я, допивая пиво, — хорошо пошло, нельзя ли ещё бутылочку?

Пока Миша ходил к машине за очередной партией пива, я встал, оделся. Выглянул в окно. За окном было, в отличие от вчерашнего дня, по-осеннему туманно и мглисто. Кажется, подсеивал мелкий, частый дождь. Всё располагало к тихому, уютному опохмелу и задушевной беседе. Миша вернулся в армейской плащ-палатке и стал похож на памятник. Вместо автомата он держал прижатые к груди бутылки.

— Прихватил в дорогу плащ-палатку и, похоже, весьма кстати... Брат когда-то подарил.

— Он у тебя, кажется, военный?

— Служит, — уклончиво ответил Миша.

Я быстро пожарил яичницу, под пиво обнаружил в холодильнике завёрнутого в газету увесистого вяленого леща.

— Местный? — спросил Миша, разделявая леща. — В реке ещё водится рыбка?

— Как видишь, — сказал я, — тут ещё много чего водится, места заповедные... Так ты берёшь участок, или какие-то сомнения завелись?

— Пока склоняюсь к тому, что вроде бы, с одной стороны, надо брать, а с другой... В общем, там видно будет, — неопределённо промямлил Миша.

— Нет, так не пойдёт, — сказал я, почувствовав, как боднуло на старые дрожжи пиво в голову, — ты не на дипломатическом приёме, старина. Берёшь или не берёшь?

— Вот пристал, — дружелюбно засмеялся Миша, — если бы всё в жизни было так определённо, как у тебя... Вчера этот жучок из местной администрации заломил сверх преёскуранта ещё три цены. Теперь прикидываю по деньгам...

— Это Калеватов? Когда он успел?! Мы же всё время рядом были! — вырвалось у меня.

— Эти люди всегда найдут удобный момент... У них тут отработанная методика.

— А ты не соглашайся, — вспомнил я предостережения Лёхи, — плати строго по инвентаризационной стоимости. А если что, с ними разберётся Мальков, он мне так и сказал...

— Кирюш, — с нарочитой барственностью, позёвывая, потянулся в кресле Миша, — если что, я с ними сам разберусь... Ну, а потом, надо мне тут разобраться кое с чем посложней, — загадочно произнёс он и быстро, как бы затирая сказанное, поправился: — Так что неделю буду думать, в следующую пятницу приеду, тогда всё окончательно и решим. Я сам позвоню этому, как его, Каловатову...

— Калеватову, — машинально поправил я, не оценив Мишиного юмора. Фраза, что здесь ему надо с чем-то разобраться посложнее, зацепила меня. И даже три бутылки пива, вызвавшие вторичное лёгкое опьянение, не развеяли во мне вчерашнего подозрения, что Миша Васильев здесь неспроста.

— И ещё, — состроил постную гримасу Миша, — за рекой эти ракеты с ядерными боеголовками... вообще-то стрёмно.

— Да они здесь уже сто лет стоят и никому не мешают. Если бы было что... отсюда давно бы все разбежались.

— И тем не менее, — притворно вздохнул Миша и неожиданно, понизив голос, добавил: — У меня брат, только между нами... служит по линии безопасности в РВСН... всякие нештатные ситуации случаются...

Ах, вот оно что! Служба безопасности в РВСН... Я сделал вид, что не придавал значения его неожиданному вбросу о брате. Ну, проболтался Миша под хмельком. Ну, ляпнул и ляпнул, чего говорить не надо. С кем не бывает. Мы-то люди свои и понимаем слабости друг друга. Так что проехали.

— А как тебе Феодосий Палыч? — как можно беззаботнее спросил я.

— Очень умный и основательный человек, — неожиданно серьёзно, даже как-то подчёркнуто серьёзно сказал Миша. — Вначале, скажу честно, я принял его за придурковатого всезнайку-болтуна, которыми так богата наша провинция... Я не в уничижительном плане, ты понимаешь. У нас много на Руси таких универсальных, широкопрофильных говорунов, которые начитались разной хрени от около исторической, философской литературы до конспирологической бредятины и несут потом всякий вздор, слывя шибко умными и продвинутыми, хотя никаких реальных знаний там и рядом не стояло... Умные дурачки, про таких в народе говорят. Вот Горбачёв — типичный представитель людей этого сорта... Но Феодосий Палыч — это другое. У него серьёзный общетеоретический уровень подготовки с жёсткой привязкой через краеведение к реальным проблемам, знание жизни вот этого конкретного района... его почвы. Феодосий Палыч — это, если так можно сказать, синтез мысли и практики... два в одном. Сейчас таких очень

не хватает, сплошные дилетанты-теоретики... — Миша внимательно посмотрел на меня. — А Малькова, я заметил, старик не очень-то жалуется... Что-то их, похоже, связывало, а теперь они разбежались и дуются друг на друга каждый в своём углу.

На этот раз я не уклонился от вкрадчивой въедливости друга. Пиво расслабляет.

— Насколько мне известно, вокруг Феодосия Палыча образовалось что-то вроде философского кружка, — с какой-то странной, неожиданной охотой начал рассказывать я, — собираются на его квартире ещё крепкие осколки советской интеллигенции, бывшие учёные — тут когда-то был серьёзный закрытый НИИ с докторами наук, — хорохористые учительшики, парочка бойких мелких чиновников, местные писаки, и судят-рядят про то, про сё. Аглицкий клуб Свобобоярска, одним словом... Заглядывал на посиделки к ним и Мальков. Не знаю, что там у них произошло, но, по некоторым оговоркам Феодосия Палыча, Мальков в один прекрасный момент грубо нахамил честной компании, обозвал всех пустышками, никчёмными бездарями и пустомелями и хлопнул дверью.

— Забавно, — сказал Миша, так жадно ловивший каждое моё слово, что я пожалел, что соболтнул ему о собраниях у Никанорова. — Забавно, — усмехнулся он, — получается, что-то вроде “наших” из “Бесов”.

— Ну, ты хватил... крутые аналогии! — мне стало весело. Но взглядевись в Мишу, вдруг понял, что тот не шутит.

— Рядом с таким объектом, — Миша сделал рукой горку, как бы имитируя полёт ракеты, — больше трёх лучше не собираться. Но то, что от них отделился такой радикал, как Мальков, говорит о том, что они действительно болтуны, не больше...

— Чепуха какая-то, — сказал я, чувствуя себя как бы в чём-то виноватым, — и почему Мальков вдруг стал радикалом?

— По ощущениям, друг мой, по ощущениям, — непроницаемо сузил глаза Миша. — А потом, ваш городок такой тихий, здесь так хорошо всё слышно...

— И что же слышно? Как матерится пьяный работяга, страдая утром от палёной водки и отсутствия пивка из спецбуфета? Или как разбивают кувадами уникальные станки на остановленных заводах? А может, как шелестят наворованными купюрами Калеватов со своим начальником Крошкиным? Это тоже слышно?! — так и подкинуло меня. Слушать Мишину галиматю больше не было сил.

— Всё слышно... в деталях... Ты даже не поверишь, как чётко, — усмешливо посмотрел на меня Миша. — Услышали к вышперечисленному тобой и то, что командир ракетной части встречался намеренно с твоим старцем Нектарием.

— И что в этом такого, что они встречались? Видимо, вояка хотел передать через старца письмо о часовне Патриарху, — пришёл в себя я. — И почему вдруг старец стал моим?

— Вот видишь, и пафос весь куда-то испаряется, если задаться серьёзными вопросами, — пристально глядявался в меня Миша. — А что в этом такого? Так не будем забывать, что встречался, как ты говоришь, “вояка” не просто с малограмотным, деревенским дедушкой, а с отпетым власовцем, совсем недавно приехавшим из США... из США, понимаешь?

Мне показалось, что я улетаю в какую-то другую эпоху... Я с трудом удержался, чтобы не расхохотаться Мише в лицо.

— Вот этого не надо, здесь не до смеха, — словно прочитал мои мысли Миша. — А почему старец “твой”? Потому, что он недавно был у тебя, и вы с ним славно тут часа три что-то перетирали... И об этом тоже слышно... Что ты скажешь о нём? — блудливо вильнул глазами Миша.

Я почувствовал себя участником театра абсурда. Мне захотелось ущипнуть себя — сон это или явь? “Он делает из меня какого-то информатора, — пронеслось в голове, — и это самая что ни на есть явь...” И тем не менее, надо было отвечать на Мишин вопрос или совсем не отвечать. Что-то подсказывало мне, что здесь что-то можно и нужно приоткрыть.

— Ничего не скажу, — сказал я твёрдо, — кроме того, что он родился в этом доме. Его вывезла мать по церковным связям пятилетним в Эстонию, в последний момент, как опустился железный занавес... Приходил посмотреть отчий дом, поностальгировать... старенький уже, под девяносто... неровен час...

— Так вот оно что... — протянул Миша, оглядывая, как в первый раз, стены и потолок столовой, где мы пробавлялись пивом, — выходит, это его родовое гнездо...

— Дом поставил его предок, тоже священнослужитель, ещё во второй половине семнадцатого века, — добавил я.

— Значит, потянуло в родные пенаты? Хороший предлог поселиться рядом с секретным объектом, — плутовато заиграл Миша своими шоколадными, непроницаемыми глазами.

Я оторопел:

— Ты что несёшь, друг мой?! “Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?”

— Да третье уж от Рождества Христова! — с вызовом подхватил Миша. — Ты думаешь, со временем что-то меняется на большой шахматной доске? И там фигуры перестали “есть” друг друга? Ты наивен, Кирюша!

“Ещё один маньяк на мою голову!” — я с трудом сдержался, чтобы не застонать, не затопать ногами.

— Он скоро девятый десяток разменяет, какой из него шпион! — зашёлся я.

— А разве я говорил что-то подобное? — вскинулся кудлатой головой Миша и наглово смерил меня взглядом.

— А на что же ты только что намекал?! — вскочил я со стула.

— Успокойся, — медленно процедил Миша, — несколько не изменился с институтских лет... Как всегда, сплошные эмоции.

— А вот ты изменился... Ты же Сартра с Камю боготворил, и такую чушь через тридцать лет несёшь!

— При чём здесь это? — неприязненно посмотрел на меня Миша, — высокую европейскую мысль я до сих пор люблю... Вот недавно “Тошноту” Сартра в оригинале перечитал... Но видишь ли, дружище, одно дело их творческие, интеллектуальные достижения, перед которыми, повторяю, я снимаю шляпу, другое — их идеология, тщательно маскируемая, запрятываемая, но которой пронизано буквально всё западное сообщество. И в этом смысле западный мир — самый идеологизированный мир. Это идеология мессианства западной цивилизации. Ни дивный прекрасный эллинизм, ни аскетическое христианство, ни великие гуманистические идеалы Просвещения, ни самые совершенные доктрины о демократии и правах человека ни на йоту не подвинули в западном человеке глубинное, иррациональное, угнездившееся где-то в подкорке чувство превосходства над всеми другими племенами и народами. И это чувство гонит их через океаны и материки насаждать, насаждать другим свои ценности, свои представления о том, как должен быть устроен мир. Так было во времена Древнего Рима, так было в эпоху великих географических открытий, колониального продвижения, экспансии наполеонов, гитлеров, американских президентов. Так будет всегда, пока Запад существует как институциональное, цивилизационно-технологическое сообщество. Это чувство первых, сильнейших, умнейших, как наследственная болезнь, как дьявольское искушение преследует все поколения западного человека... Это, так сказать, прамбула к главной моей мысли, — Миша внушительно помолчал и зачем-то посмотрел на меня сквозь запененные, мутные стенки поднятого стакана. — Тех же, кто им сопротивляется, кто встаёт на пути их всепроникающей экспансии, они уничтожают. — Миша резко, со стуком опустил стакан на столешницу. — Заметь, уничтожают физически. Или ослабляют до такого уровня, когда о сопротивлении говорить уже не приходится... Я прожил на Западе половину жизни, вращался в самых серьёзных кругах. Поверь, более коварной, двуличной, жестокой элиты нет на свете. И ей безропотно подчинён народ. В том смысле, что идеологически они едины. Поэтому с нами, кто им упорно не покоряется, они ведут

векovou борьбу на уничтожение. Повторяю, коварство “белого человека”, его цинизм, изощрённость приёмов и методов в борьбе с “инакомыслящими” не знает предела... Задаваться вопросом “Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?”, конечно же, можно. Но только и ответ напрашивается один — несменяемое тысячелетье... От псов-рыцарей до натовских баз в Прибалтике... Ты и представить себе не можешь, как твоего старца могут использовать втёмную. Он наверняка проходил после войны фильтрационные лагеря у союзников, встречался, когда жил в Штатах, с самыми разными людьми там, с ним могли такие спецы работать, что он, помимо своей воли, не догадываясь даже, мог навсегда остаться уловленным... “Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам”. — Миша резко закончил и холодно окинул меня бестрепетным взглядом председателя ревтрибунала.

Я молчал. С некоторых пор я стал уклоняться от споров с людьми, как бы понявших для себя что-то такое, что, с их точки зрения, не подлежит уже никогда и ни при каких обстоятельствах ни переосмыслению, ни ревизии. Чаще всего за этим обнаруживается либо фанатизм, либо убеждения. И то, и другое в человеке непреодолимо, пока человек не изменится сам. В Мише, мне показалось, жили убеждения. А чужие убеждения полезнее смиренно обходить стороной.

— Как можно использовать старого монаха втёмную? Ну, если только датчик в скуфейку вшить и слушать его тихие молитвы и переговоры с братией? — тем не менее, съязвил я.

— Напрасно иронизируешь, — угрюмо отозвался Миша. — Старец — исповедник, слышит за тонкого врачевателя душевных ран. К нему уже чуть ли не очередь выстраивается... Идеальный способ замера общественных настроений... да ещё в глубинке. Представь себе, что он потом делится своими наблюдениями, — нет, не конкретно по какой-то личности, какому-то конкретному случаю... Тайна доверительной, сердечной беседы — это святое, это неприкосновенное, а так, вообще, в целом, с кем-нибудь из своих прежних заокеанских знакомцев по электронной почте, скайпу, просто в письме, в телефонном разговоре, а это всё сканируется, пишется, изучается... Да за одно точное слово, определение, выверенную оценку настроений в самой толще русской жизни, да рядом с таким объектом, определённые службы дорого дадут... А если к нему ещё ходят командиры ракетных дивизий! Понимаешь ты это, наивный ты человек?! — Миша не на шутку разошёлся и разволновался. — Да его, зная, что он тут подвизался старцем, могут тонко провоцировать на откровения, так тонко, что он и замечать не будет, как начнёт выкладывать особенности морального, нравственного, социально-психологического состояния самых разных слоёв нашего общества. Советский Союз уничтожили не атомными бомбами, не танками и пушками, а вот именно тонкими познаниями настроений, запросов, чаяний и недовольства советского человека. На этом безошибочно сыграли, заставили выйти на митинги протеста, а затем под лозунгом борьбы с коммунистической системой разрушить своими же руками свою великую империю. Теперь они так же подбираются к российскому человеку. Изучают, составляют его нравственный, психологический, социально-бытийный портрет. Ты и представления не имеешь, каким изощрённым инструментарием они пользуются. Тот, кто знает психологию, вкусы и запросы обывателя, тот владеет и страной, в которой этот обыватель живёт и множится. Им нужно проникнуть в душу народа, и тогда они парализуют его волю, заставят под самыми благими намерениями — бескомпромиссной борьбой с коррупцией, честными выборами, равенством всех перед законом — демонтировать остатки российской государственности, превратить в груды черепков то, что осталось от великого Государства Российского под неброским названием РФ.

— А с коррупцией действительно пришла пора разбираться жёстко, — ввернул я, — ты же сам увидел, что это такое. Когда глава района практически занимается рэкетом, нагло, под прикрытием властных московских аферистов торгует пахотными землями, не говоря уже об “откатах” и разнокалиберных взятках от владельцев торговых точек и рынков... Похоже, наступает время, когда, как говорится, кто кого... Или государство очищает

сосуды и выздоровливает, или тромб коррупции приводит к смертельному инфаркту.

Миша понимающе ухмыльнулся.

— У вашего Крошкина действительно есть достаточно высокий покровитель, некто Кустов, он родом откуда-то отсюда, сейчас депутат, одно время не на последних ролях “изнурял себя непосильным трудом” в правительстве, оброс связями... Ловкий тип! Скажу тебе, только между нами, сейчас он в разработке, скоро его накроют вместе с этим Крошкиным и всеми каловатыми впридачу... Однако уже четыре, — посмотрел он на часы, — заболтались мы с тобой, брат, а мне ещё до Москвы по жутким пробкам толкаться, дай Бог к девяти пробиться. Завтра на работу... Это ты тут барином устроился.

— Может, останешься? — предложил я. — Пива достаточно выпили... гаишники на воскресный промысел вышли... Утром — оно надёжнее.

— Ничего, отобьёмся... У меня “вездеход”. — Миша показал какую-то важную красно-малиновую книжечку. — А вот погулять по твоим владениям ещё полчаса можно, глядишь, пивко и выветрится.

Миша — в плащ-палатке, я — в полиэтиленовом дождевике молча спустились к реке. Молча прогулялись вдоль берега. Разговор как-то намертво иссяк. Мне показалось, что Миша чувствовал определённую неловкость, он, видимо, слишком распустил язык... Обречённо пригибалась в предосенней покорности трава под дождём. Вода, поднявшись после ливня, задумчиво расплетала ещё зелёные волосы берегов. Печально позвякивала цепью, водимая течением, лодка на привязи. Стало вдруг невыносимо одиноко и грустно. Мне захотелось, чтобы мой друг поскорее уехал...

7

На следующий день я, прежде всего, набросал письмо о часовне в Минобороны за предполагаемой подписью Мишиного шефа. Перед тем как отправить текст по электронной почте, решил показать его Лёхе, так сказать, для верности, — может, чего-то не учёл, пропустил важное. Лёха словно ждал моего звонка и подкатил на своём катафалке уже минут через пятнадцать.

— Ни убавить ни прибавить, — сказал он, внимательно проглядев текст, — дело за малым — заполучить подпись вот этого человека, — Лёха ткнул пальцем на мониторе в фамилию спикера, — но тут уж должен твой друг постараться... Кстати, как он, доволен остался? А то ко мне Калеватов какой-то встревоженный уже с утра прибежал...

— Да вроде ничего... На что ему обижаться? Кажется, всё было очень прилично... — пожал плечами я. — В следующую пятницу снова обещал приехать, окончательно определиться с участком. А что Калеватов волнуется?

— В следующую пятницу? — в пойнтерской стойке замер Лёха, что-то быстро соображая. — Ну, в пятницу, так в пятницу, — согласился он с чем-то своим, — надо снова накрыть поляну у Кригера... А Калеватов? Так он струхнул, что выкатил твоему другу на субботней пьянке чиновничьи расценки за землю. Бойтся, как бы чего не вышло. Заладил, что не простой человек твой друг... — Лёха вопросительно взглянул на меня.

— А тебе как показалось? — уклонился я от ответа.

— Да и мне так же, — недовольно посмотрел на меня Лёха, — впрочем, детей мне с ним не крестить... Будут ошкуривать его местные воришки, помогу, подскажу... Только сдаётся мне, не за этим он сюда приезжал... Но это уже не имеет равным счётом никакого значения, — усмехнулся он. — Пойду проверю, что там творят мои “дети подземелья”. Сегодня они должны закончить с подвалом, завтра примутся за веранду.

В это утро Мише, видимо, икалось. Ещё не стихли Лёхины шаги по лестнице на первый этаж, как Миша позвонил.

— Кирилл, поздравляю, — деловито сказал Васильев в трубку, — с утра составлял пресс-релиз для шефа и обнаружил пять публикаций по часовне, и не абыгде, а в самых солидных изданиях, — он перечислил действительно крупные газеты, — так что с тебя причитається.

— Самое время положить твоему шефу на подпись письмо в Минобороны, — сказал я, — основа уже набросана, сейчас вышлю.

— Раньше, чем на следующей неделе, ничего не получится, — фальшиво погрузнел Миша, — через час шеф уезжает до пятницы, вернётся в пятницу после обеда, в пять у него Совет безопасности... Я ему практически весь день не нужен и отпросился к вам... Так что только в следующий понедельник... Заодно, когда буду у тебя, мы это письмишко ещё вместе подредактируем.

Ясно было, что Миша увливает. “Что-то он тут разное такое, что не хочет светиться, он всегда предельно осторожно”, — подумал я, примериваясь к нараставшему чувству тревоги. Что-то подсказывало мне, что втягиваюсь я в какое-то зыбкое, неведомое мне прежде действо, результаты которого могут быть самыми непредсказуемыми, может быть, даже опасно непредсказуемыми. В чём заключалась эта опасность, объяснить себе я не мог. Но что-то было не так. Я ощущал, что люди вокруг меня вдруг почему-то начинают играть роли, прежде им не свойственные. И вот это-то настораживало и пугало. Начинался тот самый карнавал с масками, когда, по особым законам этой феерии, от каждого участника спектакля можно ждать подвоха или какой-то гадости. Но и уклониться от этого тревожащего действия я был уже не в силах. Вот сегодня протрубили газеты... Оставалось только, как говорят в таких случаях, положиться на волю Божию.

Я выглянул в окно. Лёха, как мне показалось, напряжённо слушал кого-то по мобильному телефону. Последний день лета радовал теплом и светом. Я раскрыл раму и жестами позвал Лёху снова подняться ко мне. Мне хотелось показать ему на сайтах газет опубликованные статьи, заодно проговорить ещё раз о вознаграждении публикаторам. Лёха закончил разговор по телефону и изобразил на лице неподдельную радость.

— Разрешили! — крикнул он мне. — Вот что значит письмо Патриарха!

— И у меня хорошие новости, поднимайся, посмотришь! — тоже как можно веселее откликнулся я.

— Идеальное совпадение, — сказал Лёха, почитав заметки, — для военных чиновников это станет ещё одним аргументом, что они приняли правильное решение... Ну что, старина, начнём богоугодное дело?! — оторвал от монитора деланно довольное лицо Лёха. — На этой неделе и приступим... Начнём завозить к часовне стройматериалы. А говорят, что понедельник — день тяжёлый! — Лёха встал и обнял меня. Плечи у Лёхи почему-то нервно вздрагивали.

— А насчёт гонорара твоим писакам — всё, как договаривались... — отстраняясь, сконфуженно опустил глаза Лёха. — Ты когда собираешься в Москву, чтоб я приготовил деньги?

— В следующий понедельник у меня заканчивается отпуск, — сказал я, сделав вид, что не заметил странного волнения Лёхи. — Уеду, видимо, обратно с Васильевым в субботу или воскресенье... Как у него пойдёт дело... Он будет здесь, как я уже говорил, в пятницу...

— Деньги завезу в четверг, — уже с привычной уверенностью отчеканил Лёха.

— Да, с письмом от его шефа в Минобороны, похоже, не получается, — продолжал я. — Большой человек сегодня уезжает в командировку, вернётся только в пятницу, практически сразу на Совет безопасности к пяти... Если и подпишет, то на следующей неделе. А оно когда надо?

— Кто бы думал, что будет по-другому, — неожиданно зло бросил Лёха, — командировка до пятницы, Совет безопасности в пять... — невятно забормотал он, весь трепеща, но перехватив мой, видимо, слишком пристальный взгляд, словно одёрнул себя и резко выправился. — Отговорки это всё! Ну, да Бог с ним... без него всё решили! А ты, значит, хочешь с Васильевым на его машине обратно? Не волнуйся, к твоему отъезду ремонт экипсчим в срок, надёжно и красиво... Всё срастается, как по заказу... — на этих словах Лёха словно споткнулся, на мгновение задумался и, мрачно усмехнувшись, многозначительно добавил: — Твой московский друг в пятницу ахнет.

— Да я и не волнуюсь, — посмотрел я Лёхе в глаза, — это ты, похоже, что-то напрягаешься.

— Есть немного, — вильнул он взглядом, — теперь забот с этой часовней... Как это всё поднимать?!

— Ну, армия, насколько я понимаю, не останется в стороне. Что думает брат? — спросил я осторожно.

— Что думает брат? — Лёха замер и испытующе-встревоженно стал всматриваться в меня, — брат ничего... — Лёха скинул напряжение, — обещает помочь деньгами и солдатиками. Хотя какие у него деньги, по какой статье он будет их проводить? Нет пока у воинских подразделений статей расхода на возведение культовых сооружений, — сухим смехом прокашлялся Лёха, — надо будет опять писать письма... сплошная бюрократия и рутина.

Чистыми, какими-то “советскими” трелями в комнате зазвонил годами молчавший, установленный в незапамятные времена домашний телефон. Это был Феодосий Павлович.

— Кирилл, — сказал Никаноров без лишних вступлений, — посмотри завтра нашу сплетницу, в номере стоит мой опус о часовне. Ты молодец, сегодня я насчитал с полдюжины заметок в центральной прессе.

— Пять, — поправил я.

— Ну, хорошо, пять, — раздражаясь, сказал Феодосий Павлович. Старик был явно чем-то озабочен, — с моей будет полдюжины... Есть надежда, что власть прислушается.

— Она уже прислушалась. Сегодня получена отмашка Минобороны на восстановление часовни.

— Чудесно, — вздохнул Феодосий Павлович, — теперь она пусть прислушается к нам... По этому поводу я тебе, в общем-то, и звоню...

— К “нам” — это к кому?

— К нам — это к равнодушным гражданам, — назидательно сказал Никаноров. — Не знаю, говорил ли я тебе, но где-то года два назад я зарегистрировал НКО “Ренессанс”... с чисто культурно-просветительскими целями... всякие выставки, лекции в школах по истории края, ну, и анализ современной жизни тоже... Нас уже около сотни таких подобралось...

— А мне говорили, что у вас что-то наподобие социально-философского кружка... своробоярских фурьеристов, — попытался пошутить я.

— Нет, мы посерьёзнее структура, — строго отмёл всякие покушения на юмор Феодосий Павлович. — Словом, в субботу мы хотим решительно заявить о себе... Хватит жить в грязном болоте! Мы проводим митинг на центральной площади за возрождение города и района. Приглашаем тебя... как гражданина, ну, и как представителя центральной прессы...

— А митинг-то разрешённый? — почему-то спросил я.

— Сегодня получена отмашка... — язвительно повторил меня Феодосий Павлович. — У нас заявка всего на триста человек... каждый из нас приведёт ещё по два-три человека из знакомых. Власти разрешили, посчитав, что триста маргиналов, с их точки зрения, ерунда... Только напрасно, бывает мал золотник, да дорог! — По голосу Феодосия Павловича можно было судить, что настроен он весьма решительно. — Так ты придёшь? Митинг начнётся у памятника Ленину в десять утра.

— А не рано? В субботу люди долго спят.

— Это в Москве долго спят, — занервничал Никаноров, — в провинции всегда встают с петухами... Но ты не ответил на мой вопрос.

— Конечно, приду... Как не поддержать равнодушных граждан древнего Своробоярска, могучий протестный электорат, голос которого зазвучит, как колокол на башне вечевой... — попытался снова пошутить я.

— Не паясничай, тебе это не к лицу! — одёрнул меня Феодосий Павлович и, не попрощавшись, повесил трубку.

— Что там придумал ещё этот старый болтун? — насмешливо взглянул на меня Лёха.

— Почему сразу — “старый болтун”? — возразил я. — По-моему, образованный, умный, нестандартно мыслящий человек...

— Ну, хорошо, хорошо — гениальный бесполезный балабол, — не унился Лёха. — Что он на этот раз необычного изобрёл?

— Приглашает в субботу на митинг за возрождение города и района, — на субботу в пятницу у с Лёхой. — У него, оказывается, есть НКО...

— Знаю... “Ренессанс” называется... Более глупое и нелепое название для Своробоярска придумать трудно... — язвительно отозвался Лёха. — А ты спрашиваешь — почему балабол?! Значит, в субботу в десять утра эти ма-разматики выйдут на митинг? Это интересно, очень интересно! — пришёл снова он в волнение и начал нервно выпагивать из угла в угол. — А ведь это может быть крайне забавно, тут ещё как повернуть... Эти старпёры ещё могут быть очень полезны! — Лёха закружил по комнате, сочно вбивая гулак правой руки в ладонь левой. — Ну что ж, и верёвочка в дороге пригодится! И старый дурак для дела сгодится!

— Для какого такого дела?

Лёха резко остановился посреди комнаты, пришёл в себя, скомканно изобразил улыбку на лице:

— Да ты как будто чего-то испугался... Для будущего дела — поднятия родного края... Кому, как не нам, тут всё реанимировать? Пора брать власть на местном уровне, — опустил он глаза вниз. — А тут и старый... э-э... демагог Никаноров с его НКО пригодится.

По-прежнему глядя в пол, Лёха неожиданно, не попрощавшись, заспешил к выходу.

8

В монастыре заблаговестили к заутрене. Солнце ещё не встало, оно только оранжево подсветило небо на востоке. Путник в хромовых офицерских сапогах ещё советского кроя, в длинном сером плаще, потемневшем снизу от росы, осторожно пробирался вдоль реки, стараясь держаться сумеречной, теневой стороны довольно высокого и частого берегового ольшаника. На голове была под цвет плаща бейсболка, длинный козырёк которой закрывал лицо. Путник легко и ловко перепрыгивал через нарытые ручьями промоины, поваленные старые деревья, шёл оглядливо, но бодро и энергично. Он явно спешил, изредка задирая левый рукав плаща, подносил ближе к глазам часы, которые показывали пять с небольшим. Скоро он вышел к белым стенам монастыря. Перед надвратной монастырской иконой снял бейсболку и трижды перекрестился. Несколько раз ударил ручкой-кольцом в кованные железом ворота. В маленькое смотровое окошко выглянуло бледное, припухлое от бессонной ночи лицо послушника. Путник извинился за столь ранний визит и испросил разрешения пройти к старцу Нектарию. Видимо, в его словах, мимике, жестах, глазах было что-то такое, что заставило послушника молча открыть небольшую дверцу в воротах.

— Вас проводить? — учтиво осведомился он у гостя. — Отец Нектарий ещё может быть на службе.

— Если можно, я сам... — глуховато сказал подсевшим с утра голосом гость, — я найду... Я уже бывал у старца.

Послушник в поклоне сделал приглашающее движение рукой вглубь монастыря.

По влажным от утренней свежести песчаным дорожкам, среди тяжёлых махровых, тёмно-малиновых головок георгинов и воздушных, бело-розовых астр, густо высаженных вдоль дорожек, гость уверенно направился в дальний конец монастыря, туда, где белела стволами прозрачная берёзовая рощица. В ней путник присел на низенькую скамейку, врытую между двумя ближайшими к крыльцу деревьями перед маленьким, почти игрушечным домиком, выкрашенным в небесный цвет, с парой крохотных окошек на фасаде. Судя по приоткрытой двери, хозяин домика ещё был на заутрене. Было так тихо, умиротворенно и благостно, что хотелось плакать и за что-то просить прощения. Гость прикрыл ладонью глаза.

Неслышными, лёгкими шагами подошёл старец, опёрся на палочку, которую держал в руках, тихо взгляделся в посетителя.

— Не стоит так кручиниться, милейший Борис Константинович, пройдёт и это.

— Здравствуйте, отец Нектарий. — Посетитель вздрогнул, приподнимаясь со скамейки. — Извините за столь раннее вторжение...

— Да разве это рано, когда солнце встало, — старец радостно поднял голову к небу, сделал несколько круговых движений лицом, словно умываясь в золотом потоке, хлынувшем из-за высокой монастырской стены. Глаза его разом наполнились голубым светом. — Разве это рано, — повторил он снова. — Так наши предки всегда вставали... Кто рано встаёт, тому... Проходите в дом, — ласково пропел старец, направляясь первым в сторону низкого, в две ступеньки крыльечка, — попьём чайку... Грешен, люблю после заутрени свежесваренным побаловаться.

В домике старца, как и в прошлый раз, было чисто и опрятно. Только резче пахло высушающими травами, развешанными пучками на гвоздях над притолокой, по косякам окошек. И на письменном столе лежала прежде не замеченная, раскрытая, прочитанная на три четверти, внушительная рукописная книга. А так всё оставалось прежним. Иконы в правом, красном углу, зажжённая лампада перед ними. По стене, где иконы, — полки с духовной литературой. Напротив — книги светские. Почти детская, короткая деревянная кровать, застеленная клетчатым пледом. Рядом — чайный столик, табурет и единственное, светлого дерева, без обивки кресло, куда, как и в прошлый раз, пригласил присесть гостя старец. Сам же включил электрический чайник, сноровисто занялся сервировкой стола. Достал из настенного шкафа две белые, расплывшиеся синими цветами, прозрачные, тонкого фарфора чашки с блюдцами, заварной чайник со сколотым носиком, железную коробочку с заваркой, простые, из нержавеющей стали ложечки, розетки и стеклянную банку с тёмно-коричневым жидким мёдом.

— Вы не представляете, — сказал старец с какими-то располагающими, приятельскими интонациями в голосе, — эти чашки моя покойная матушка взяла с собой, когда мы уезжали за границу...

— Я пришёл поблагодарить вас, батюшка, — сказал гость, подавляя замешательство, слегка выпятив вперёд довольно развитую нижнюю челюсть. — Письмо Патриарха в министерстве рассмотрели, нам разрешили восстановить часовню.

— Нисколько не сомневался в успешности нашего предприятия, — живо отвечал старец, заливая крутым кипятком заварку. — Сейчас вы попробуете чай по моему рецепту... Я добавляю в обыкновенную заварку душицу, мяту, зверобой и... пижму... Травы собираю сам, их вдоль реки море, сушу потом... — показал он рукой на пучки над дверью, — и подмешиваю в обыкновенный чёрный чай. Получается чудо-чай, сейчас попробуйте... Душица, мята, зверобой — это всё традиционные добавки в чай, а вот что касается пижмы — это особая статья, — старец укутал заварной чайник полотенцем, — её добавлять в чай меня научил один старый белогвардеец... Пижма — немного ядовитое растение... Но нет лучше, — естественно, в умеренных дозах, — противомикробного, противовоспалительного средства. Когда они, врангелевцы, ушедшие морем из Крыма, стояли почти два с половиной года на острове Галлиполи, пижма многих спасала от инфекционных болезней... Вообще пижма считается ещё и отличным общеукрепляющим средством. Чай с пижмой снимает головную боль, помогает при нервных расстройствах, лихорадочном состоянии... — Старец разлил коричневатую, душистую жидкость по чашкам. Фарфор заиграл сумеречным, уютным светом. Сделав несколько глотков, гость понял, что напиток, действительно, особенный. Немного горьковатый, но с мёдом — хорошо!

— Спасибо белогвардейцу, — сказал он, прихлёбывая с удовольствием, не чинясь, из чашки. — А кем они были, на ваш взгляд, отец Нектарий? — неожиданно спросил он.

— Кто?

— Белогвардейцы...

— Те, с кем мне приходилось встречаться, — не задумываясь, ответил старец, — были люди достойные, горячо любящие Россию... много страдавшие вдали от Отечества.

— Может, оттого они и страдали, что преступили присягу, клятву... — в раздумье, трудно выговорил гость.

Старец вопросительно взглянул на него.

— Я говорю это в том смысле, что они, офицерство в основном, генералитет, присягали императору — Великой России, монархии, а в марте семнадцатого переприсягнули Временному правительству — демократии, свободам и прочему... Это же травмирует, а то и калечит человека порядочного... Верными царю, присяге, я где-то читал, остались два или три генерала, — прерывисто вздохнул гость.

— Это верно, монархистов в Добровольческой армии было немного, и их верховное командование не поощряло, достаточно вспомнить об этом записки Шульгина, — старец с интересом глядялся в гостя. — В основном там были те, кто за Учредительное собрание, непредрешенцы, словом, люди демократических взглядов. Но поймите, монархия себя изжила, роковые изменения были неизбежны... Те, кто попадает в революционный разлом, всегда выбираются из него в чём-то искалеченными. Это вы точно сказали... Может быть, вы правы и в том, что за грех клятвоступления приходится платить, в случае с Белым движением — поражением на полях сражений, изгнанием, рассеянием, тоской по Родине... Только я их ни за что не осуждаю, они за всё заплатили сполна, и за свою Россию они сражались в целом достойно и честно.

— А власовцы? Кем эти были? Сейчас про них пишут, что они чуть ли не продолжатели Белого движения, “третья сила”, выступившая против Сталина и Гитлера. Они намеревались освободить Россию, как они говорили, от большевистского ига... Извините меня, батюшка, за такие, может быть, неприятные для вас вопросы, но не праздного любопытства ради я обращаюсь к вам! — с каким-то отчаянием сказал гость. — Мне надо сейчас принять решение... Я не знаю, что делать... Мне надо решить... где предательство, а где долг... — опустив глаза в пол, сбивчиво закончил он.

Старец легко поднялся с табурета, привстал и незаметно перекрестил склонённую перед ним голову гостя.

— Почему вы решили, что вопросы о тех, кого принято называть власовцами, неприятны мне? — мягко заговорил старец. — Только потому, что судьба свела меня с протоиереем Александром Киселёвым, духовно окормлявшим этих самых власовцев или, как они сами себя называли, “воинство вооружённых сил Комитета освобождения народов России”? Или потому, что я долго был рядом с этим человеком, активно поддерживавшим генерала Власова и даже бывшего чуть ли не его духовником? Вы, я вижу, человек сведущий... И тем не менее, для полной ясности я должен посвятить вас в некие частности моей непростой, так сказать, судьбы. Так вот, отец Александр Киселёв принял самое активное участие в вызволении нас с матушкой из Советской России в начале тридцатых... Моего батюшку, священника Алексея Смирнова, не выпустили тогда из России, и он, как вы понимаете, попал под жернова... Протоиерей Александр Киселёв по материнской линии принадлежал к влиятельному роду князей Шаховских, одна из ветвей которого, к слову, дала знаменитого архиепископа Иоанна Шаховского... Отец Александра Киселёва был родом из Тарту, почему они все и перебрались, когда началась гражданская, в Эстонию... Когда мы с мамой добрались до Таллина, они приютили нас, помогли устроиться на новом месте. В одиннадцать лет я стал прислуживать в алтаре одного из православных храмов в Таллине, настоятелем которого к тому времени стал молодой священник Александр Киселёв. Там, к слову, диаконом служил Михаил Ридигер, а прислуживал в храме, как и я, его сын Алёша. — Старец заулыбался. — Догадываетесь, кто это был?

— Будущий Патриарх?

— Верно, будущий Патриарх Московский и всея Руси Алексей Второй.

— Теперь понятно, почему так удачно всё получилось с письмом по часовне, — отметил кивком головы гость.

— А когда в сороковом Эстония стала частью СССР, — продолжал старец, — мы вместе с Александром Киселёвым эмигрировали в Германию,

где я так и оставался алтарником во всех храмах, где служил отец Александр. Отец Александр был подвижником, исключительно энергичным, очень искренним и добрым человеком... Когда началась война, в плен попали миллионы красноармейцев... Содержались они в немецких концлагерях в нечеловеческих условиях. Так отец Александр, глядя на страдания русских людей, развернул для них самую деятельную помощь: он организовывал сбор продуктов, одежды, медикаментов... Поддерживал пастырским словом отчаявшихся, упавших духом. Так он сошёлся с теми, кто начал грезить организацией так называемой “третьей силы”.

— Они уже были из советских военнопленных? — оживился гость.

— Это сложнейший вопрос, — осторожно отвечал старец. — Часть эмиграции, наиболее непримиримые, никогда не оставляли надежды взять реванш, в том числе и с помощью военной иностранной силы. “Против большевиков — хоть с чёртом”, — сказал как-то генерал Врангель. И когда в Германии к власти пришли нацисты, и стало ясно, что война с Советским Союзом неизбежна, в эмигрантской среде, вот среди этих непримиримых, стали раздаваться голоса, что можно разделиться с большевизмом, примкнув в случае войны к немцам, а потом повернуть штыки против них.

— Очень наивная позиция, — покачал головой гость.

— Размышляете, как генерал Деникин, — поощрительно улыбнулся старец, — попадалась мне на глаза уже после войны его работа где-то года тридцать восьмого, которая называлась, кажется, если мне не изменяет память, “Мировые события и русский вопрос”... Хорошо запомнилось его доверенное обращение к тем, кто готов был вместе с немцами воевать с большевизмом. Деникин писал, что это слишком наивно — рассчитывать повернуть потом штыки под перекрестьем немецких пулемётов. И тогда, говорил он непримиримым, прольёте вы кровь не “чекистскую”, а просто русскую — свою и своих — напрасно, не для освобождения России, а для большего её закабаления.

Гость слушал, напряжённо вбирая каждое слово.

— Хорошо говорил Деникин! — вырвалось у него. — Я не знал... Я думал, там проще было. Но оказывается, и Деникин стоял перед страшным выбором...

— Не знаю, верно ли, — задумчиво произнёс старец, — но рассказывают, что авторитетному белому генералу Деникину немцы предлагали возглавить то, что впоследствии было названо РОА — Русской освободительной армией, — командующим которой стал бывший красный генерал Власов... Так вот, Деникин, говорят, ответил немцам на их предложение, что он воевал с большевиками, но не с русским народом...

— Белый генерал отказался, а красный согласился. Где логика? — пожал плечами гость.

— Логику здесь искать — бесполезное занятие... Всё дело в самом человеке, в каком-то непередаваемом нравственном чувствовании добра и зла, — тонко посмотрел на гостя старец. — Часть белых пошла с немцами — Краснов, Шкуро, Гирей Клыч... Они со своими подразделениями влились в вооружённые силы Германии. Но их было немного, большинство в эмиграции заняло позицию, близкую к позиции Деникина... Да, большевизм ненавидели все, но чтобы быть с теми, кто напал на твою Родину, и под флагом якобы борьбы с политико-идеологической доктриной так или иначе принимать участие в её “большем закабалении” — вот это уж — увольте, это без меня...

— Получается, отец Нектарий, нравственное начало у генерала Власова отсутствовало? Но вы же... — гость замаялся.

— Договаривайте, душа моя, вы несколько меня не обидите... — Старец придвинулся с табуреткой к гостю и внимательно взглянул ему в глаза. — Да, я следовал по жизни за отцом Александром Киселёвым, и так уж случилось, что в подростковом возрасте был алтарником в походной церкви РОА, где службу вёл отец Александр... Потом прошла целая жизнь, было время подумать над разными её опытами... А что касается нравственного начала генерала Власова, — кстати, я его несколько раз видел, — то об этом

есть такая история. Якобы те же немцы свели Деникина и Власова. Представили Деникину: “Генерал Власов”. Деникин сказал, что он о таком генерале не слышал. Как же так, сказали немцы, он тоже, как и вы, борется с большевизмом. Да, я боролся, сказал Деникин о себе, но никогда большевикам не служил. Деникин, представляется мне, ударил в самое больное место Власова: служил одним, перебежал к другим, вступил в союз с ними против вчерашних хозяев... Неприлично вышло всё, с душком...

— Ну, а если прозрел человек, содрогнулся, так сказать, от мерзости окружающей жизни и решил бороться... Что же, нельзя? Предательство сразу?! — горячо вырвалось у гостя. Он качнулся вперёд и, склоняясь, интуитивно схватился за голову.

Старцу захотелось погладить его по волосам, пожалеть, и он поднял было руку сделать это, но сдержал себя и опустил плавно ладонь на заварной чайник.

— Откушайте еще чайку, — сказал он как можно ласковее и налил покруче в чашку гостя. — Человек, безусловно, имеет право на сопротивление... системе, которая давит, угнетает его, — тихим, увещательным голосом продолжил старец, — но он должен это делать, не переступая в себе какую-то очень важную черту, в полном согласии с совестью, не замарывая честь... Он должен быть чистым, как ангел, провозглашая своё, как ему кажется, “святое” дело. Но если он чувствует, что его намерения, даже самые благие, тревожат ему душу, царапают совесть, и что-то подсказывает ему, что они не до конца праведны, то лучше не начинать. Иначе получается... власовщина. Движение, основанное на глубокой, справедливой обиде русского человека на советскую власть, обиде, перерастающей в ненависть, обиде за то, что его ломают через колено, обирают до нитки, за издевательства во время коллективизации, за голод, за страх перед человеком в форме и с наганом, за людоедскую жестокость и насилие... Всё правильно, такое движение неизбежно должно было возникнуть, но оно возникло, инспирируемое врагом, с оружием в руках явившимся в твой дом, хозяйничающим в нём, но при этом лицемерно-нагло говорящим его обитателям, что он пришёл навести в доме порядок. И вот эта скрытная, маскируемая возня с врагом, как тайное, постыдное деяние, ломало души вливавшихся в движение, делало его заведомо бесплодным, лишённым какой бы то ни было исторической перспективы. Люди расщеплённые, духовно искалеченные, как вы говорите, не могут быть источником и началом созидательного действия. В колокол с трещиной не ударишь в набат.

Гость выпрямился в кресле, какое-то сильнейшее желание затрепетало на его губах и лице. Он с трудом боролся с ним, быстрым, механическим движением прикрыл глаза ладонью, как щитком.

— Так вы, говорите, видели Власова, — оторвал гость руку ото лба и как бы что-то окончательно подавил в себе, — и что он?

— Мне он запомнился каким-то задавленно угрюмым, с неправильным, неживым лицом, — медленно, с напряжением, сказал старец, глядя куда-то в сторону. — В первый раз это было в Праге в ноябре сорок четвёртого, когда он зачитывал манифест Комитета освобождения народов России, когда, собственно, идея формирования армии из советских военноопленных обрела организационную и юридическую силу... Тогда мне едва исполнилось шестнадцать. Но я был приметлив, запомнил, что все были неестественно возбуждены... Вечером на банкете многие с каким-то восторженным отчаянием и надрывом, по-русски, напились. И только Власов, как сажённый циркуль, трезвый, с небольшой свитой неприкаянно вымеривал пьяный банкетный зал... Лицо его было какое-то тягостно неподвижное, одеревеневшее... Было грустно и стыдно... — Старец печально вздохнул. — Второй раз я видел его уже в мае сорок пятого, когда наша походная церковь вместе с власовскими формированиями уходила в сторону американских войск. Он проехал мимо в большой чёрной машине, это был уже манекен в очках... Во всём его облике, на мой взгляд, сквозила какая-то неприятная ускользающая размытость... Если бы не его огромный рост, внешне он мог показаться до странности затёртой и неприметной личностью. Вот так я воспринял его тогда

ещё подростковыми глазами, не изменилось во мне это ощущение до сих пор, увы...

— Почему “увы”? — спросил гость не без удивления.

— Как вам сказать, уважаемый Борис Константинович, — старец несколькими аккуратными глотками, словно успокаивая себя, допил чай, — есть тут один нюанс... Власова принято ругать, и я только что тоже дал ему в чём-то отрицательную характеристику. Но мне выпало быть, пусть и по касательной, где-то рядом с ним... И теперь клеймить его позором в общем хоре было бы с моей стороны неприлично. Да, я сказал то, что думал всегда... Это не конъюнктурные соображения. Но всё же, всё же, всё же... — старец поднял пустую чашку и полюбовался на просвет её тонкими, нежно-прозрачными стенками. — Если бы вещи умели говорить... — улыбнулся он.

Гость, усмехнувшись, с интересом посмотрел на старца.

— Теперь я понимаю, почему к вам идут люди... Но в жизни всё грубее, жёстче... Те же власовцы... Они записывались в РОА, наверное, без особых погружений в моральные и психологические нюансы... Не хотелось умирать с голоду в лагерях, хватались за соломинку, шли на сотрудничество, лишь бы выжить...

Старец неопределённо пожал плечами, показалось, нахмурился.

— Но вы же знаете, что это не так... Точнее, не совсем так... Вы хотите от меня... — он замялся, подыскивая нужные слова, — свидетельства о духовных терзаниях этих людей... Извольте, если это поможет вам, — старец пристально, с задержкой, посмотрел на гостя. Тот тяжело смутился и снова опустил глаза.

— Безусловно, были и те, кто шёл, скажем так, под знамена Власова за гарантированную, как говорят сейчас, пайку хлеба... Слабых простим в первую очередь, — старец перекрестился на образа, — но не будем упрощать... Многих, очень многих обидела советская власть, я уже говорил об этом. И эта обида тлела где-то глубоко в душе человека, подавлялась страхом, придавливалась каждодневными заботами. Но вдруг этот человек с его вечной занозой попадает в такие обстоятельства, когда эту занозу принимают активно и поступательно тревожить, загонять глубже... Отдел пропаганды вермахта не спал, работал, я бы сказал, искусно. Человеку втолковывали, что его обидели враги России, закабалившие его Родину, большевики — антихристианские, антирусские, антинациональные силы. Они замучили и убили миллионы самых умных и сильных русских, с помощью зловещих международных сил, неслыханного террора и репрессий подавили русское сопротивление, залили Россию кровью, штыками заставили бесплатно работать в колхозах, возродили второе крепостное право, лишили веры, несогласных убили или отправили за колючую проволоку... Они замордовали и изнасиловали твою прекрасную Родину... И это начинает бередить, распалить старую обиду, заставляет её набухать мщением и ненавистью. Появляются люди из своих — Власов начал активно работать с отделом пропаганды осенью сорок второго года, — которые говорят, что немцы воюют не против народов России, а против еврейско-большевистской системы эксплуатации и террора, что они пришли не затем, чтобы поработить твою Родину, а чтобы искоренить этот проклятый большевизм, освободить русских из-под его кровавого ига. Мы можем стать их союзниками в борьбе с общим врагом — иудео-большевистской тиранией. Наши друзья и единомышленники в Германских вооружённых силах помогут создать нам собственную армию, которая в союзе с немцами освободит Родину, чтобы заново отстроить справедливое, народно-демократическое Российское государство. Вливайся, истинный патриот, в ряды Русской освободительной армии! Для многих эти слова бальзамом проливались на старые обиды... И шли, и вливались... А где-то шепотком гуляло: “Власов сформирует русскую армию, скинет Сталина, а затем примется и за Гитлера”. Помню, РОА горделиво расшифровывали как “Русские обманули Адольфа”. Свидетельствую, такие иллюзии были... Один из авторов идеи о русском антибольшевистском союзнике, искренне веривший, как рассказывают, в возможность осуществления этой идеи, талантливый, на мой взгляд, сотрудник отдела пропаганды вермахта, в прошлом офицер царской

армии, воевавший в Первую мировую с немцами, капитан Вильфрид Карлович Штрик-Штрикфельдт, друг и соратник Власова, после войны оставил воспоминания с говорящим названием “Против Сталина и Гитлера”. Так родилась теория о “третьей силе” в годы войны... Я рассказываю вам это так подробно, чтобы вы поняли, как всё неоднозначно, сложно и запутанно было тогда... Можно представить, что творилось в душах этих несчастных людей! — Старец достал из кармана подрясника платок и вытер повлажневшие глаза. — К отцу Александру Киселёву в нашу походную церковь приходили на исповедь сотни солдат и офицеров РОА. Я помню, многие покидали храм в слезах... Помилуй их, Господи! Наверное, уже все отстрадались, — старец ещё раз перекрестился на иконы. — Отец Александр сказал как-то, что многие мучаются осознанием неявного греха. Я тогда не понял, о чём он... Но однажды случилось так, что застрелился один майор, человек до чрезвычайности вдумчивый и серьёзный... Его товарищи пришли к отцу Александру испросить совета, как предать тело земле, — офицер был нашим прихожанином, исповедовался и причащался... И вот пошёл на такое... Батюшка был очень опечален и расстроен, плакал — погибла душа христианская, как он мог не заметить! В личных вещах самоубийцы нашли предсмертную записку. Это была короткая и страстная исповедь человека, видимо, очень тонкого и ранимого, попавшего в нравственную ловушку, из которой он не знал выхода. Он писал, что никогда уже не сможет примириться с советской властью — его родители, раскулаченные и вывезенные с детьми куда-то на Вишеру в Пермский край, погибли на лесоповале, их убило поваленным деревом. Самые младшие братья и сёстры после смерти родителей умерли с голоду, которые постарше — разбрелись по миру... Он по подложной справке дослужился до капитана в Красной армии, жил в гнетущем страхе, что разоблачат. Это была не жизнь... Но и стрелять в своих, русских, участвовать в новой гражданской войне он тоже не хотел. Его мучило, как он писал, “день и ночь жгло”, что он ходит в полунемецкой форме, что армию формируют на немецкие деньги, что приказы отдаются немецкими офицерами, что он присягал когда-то советскому народу, а теперь переприсягает Родине (против чего не было возражений) и почему-то “вождю и главнокомандующему всех освободительных армий Адольфу Гитлеру”... Тонко чувствующий был человек. Он и, как я понимаю теперь, многие из РОА оказались между двух огней. И это была уже не “третья сила”, а валежник, который неминуемо должен был сгореть от этих двух огней...

— И как похоронили этого человека? — неожиданно с каким-то странным запозданием спросил гость.

Старец поднял задрожавшую руку:

— Не смейте, не смейте даже думать об этом! — перекрестил он гостя. — Страшный, один из тяжелейших это грехов... Того, кто совершает такое, Церковь не сопровождает в последний путь.

Гость вцепился руками так, что побелели пальцы, в подлокотники кресла, заворожённо смотрел на старца.

— Не знаю, не знаю... — пробормотал он. — Когда нет выхода... как у того офицера...

— Выход всегда есть! — проникновенно, весь вложившись в чувство, воскликнул старец. — Если обратиться к Богу, раскрыв ему сердце, Господь всегда укажет, что делать. Он милосерден к каждому, и Он простит любой грех, если искренно раскаяться, и укажет дорогу... пока жив человек...

— Неужели нельзя попросить Бога хоть о каком-нибудь снисхождении к самоубийце, самом малейшем! — вырвалось у гостя. — Ведь товарищи того несчастного за этим приходили к вашему священнику?

Старец закрыл глаза и, обхватив руками колено, качнулся несколько раз на табурете в глубоком раздумье.

— Вы правильно сказали — о снисхождении... Можно просить Бога о снисхождении... к наложившему на себя руки, — медленно сказал он. — Есть специальный чин для самоубийц... Священнослужитель как бы от лица близких просит у Бога прощения, что просмотрели, что не удалось остановить от страшного деяния покончившего с собой, просит о каком-либо

списхождения к самоубийце... “Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего: еще возможно есть, помилуй”. Что и сделал тогда, помню, отец Александр над прахом того несчастного майора, совершив чин молитвенного утешения близких “живот свой самовольно скончавшаго”...

— ...Аще возможно есть, помилуй, — возбуждённо повторил гость. — Выходит, и у самоубийцы остаётся шанс быть помилованным Богом?

— Церкви это неизвестно, — пристально, со всей силой своего взгляда, посмотрел старец в глаза гостю. — Душа самоубийцы погибает.

— Батюшка, отец Нектарий! — вдруг тихо, с замиранием прошептал гость. — Если со мной что-то случится... помолитесь за меня, как положено...

Старец продолжал смотреть, не отрываясь, в глаза гостю. Безотчётным движением он взял его руку, сжал её своими сухими, маленькими ладошками.

— Все наши обещания и обязательства, все самые клятвенные слова — всё пустое и тлен перед бессмертием души нашей... Не губите душу свою! — Старец, целуя руку гостя, упал перед ним на колени.

— Что вы, батюшка, встаньте! Или я застрелюсь от стыда! — в смятении вскочил с кресла гость, отдёргивая руку и пытаясь неуклюже приподнять старца с пола. Он почувствовал, как сильнейший озноб сотряс его. — Как стыдно, как мне стыдно, отец Нектарий! Зачем вы так? — лихорадочно приговаривал он, усаживая старца на место.

— Теперь не застрелитесь, милейший Борис Константинович, — улыбнулся старец, — не успеете... Как видите, я встал и даже снова сажу.

Гость не нашёлся, что ответить, онемело затрепетал перед старцем.

— Я изменник... предатель... я тоже между двух огней! — исторгнул вдруг он. — Я дал втянуть себя в тёмное дело, я могу изменить присяге... может случиться непоправимое!

— Ни одного слова больше! — быстрым, упреждающим движением руки остановил гостя старец. — Ничего не говорите! Ещё несколько слов, и из вашего доброго конфидента я превращусь в вашего лютого врага... Ни одного слова больше!

— Я шёл за утешением, — мутно посмотрел гость на старца, — но ещё больше запутался. Что делать мне?

— Не делайте того, что против совести. Я уже говорил вам об этом... — тихо сказал старец.

— Совесть говорит одно, а разум — другое... Нет во мне лада между ними, — с беспokoйством признался гость.

— “Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала”, — процитировал старец. — Понимаю вас... Разум толкает честную душу на борьбу за лучшую земную долю человека, на борьбу со злом через насилие ведёт. Но принять насилие как метод исцеления человечества не каждая совесть позволит... Ваша, вижу, не позволяет. Поэтому отступитесь, не калечьте себя... Только тогда начинаются истинные преобразования, когда идут они без насилия, когда человек нравственно и духовно созревает для преобразований, и всё получается само собой, в полном ладу между разумом и совестью.

— А как же революции, с их кровью и насилием? Ведь для чего-то они помимо воли человека случаются? И разве они не раскрепощают человека, не делают его более свободным? — нервно завертелся в кресле, присаживаясь, гость.

— Революции как раз и случаются не помимо воли, а исключительно по воле человека, точнее, по воле людей, у которых деградирует, если так можно сказать, совесть, и они, неумеренно проливая чужую кровь, лишаются каких-либо сомнений, нравственных преград.

— Но вы же сами сказали, что человек имеет право на сопротивление системе, которая давит, угнетает его, — скользнув взглядом по лицу старца, сказал неожиданно спокойно, с тонкой усмешкой, гость.

— Имеет, — почему-то засмутившись, кивнул утвердительно старец, — но снова повторяю: только в согласии со своей совестью... Но даже и так, всё это — бессмысленная затея, — со вздохом сказал он.

— Не понял? — удивился гость.

— Если скажу, что всё свершается по воле Божьей, вы подумаете, что это общие места, избитая, тривиальная мысль, — улыбнулся старец. — Но за этой фразой, извините за определённую безапелляционность, — великие смыслы, вся механика жизнеустройства... Плод не упадёт, пока не созреет. Не так ли? Так и в отношениях человека с системой, будем говорить, с властью, ничто не нарушит баланс сил, пока эта власть не изживёт себя, пока не наполнится иными, чаще всего враждебными ей смыслами. Вот парадокс! Тогда подтачиваются удерживающие её основы, и она падает, как бы добровольно самоустраняется... Так было в России с императорской властью, так случилось недавно с советской... Заметьте, без крови и насилия.

— Выходит, человеку остаётся только ждать, пока власть саморазрушится и упадёт сама? Хорошенькая философия! — хмыкнул гость. — Пассивно ждать, пока она заливает страну гноем коррупции, разрушает науку и образование, останавливает производства, вывозит из страны, как из дома алкоголика, её богатства, лишает будущности огромный народ? А не легче ли её того... — гость наступательно дёрнул плечом, — пока она не привела Россию к окончательной катастрофе?!

— Здоровая и умная власть борется с тем, на что вы указали, и тогда она прочна и долговечна. Нездоровая и неумная проявляет такую борьбу только на словах, и тогда век её короток и жалок. Обычно такая власть, повторяю, самоликвидируется мгновенно... Как будто её и не было. — Старец испытующе посмотрел на гостя.

— Значит, терпеть и ждать? — иронично протянул гость.

— Терпеть и ждать, — строго повторил старец. — Сказано: “Всяка душа властям предрержащим да повинуется”. — И неожиданно добавил после короткой паузы: — Мне кажется, не время сейчас...

Гость вздрогнул и пристально посмотрел старцу в глаза.

— Вы так думаете? — смущённо пробормотал он.

— Я скажу сейчас не как священнослужитель, а как человек, который прожил жизнь, как просто человек, которому, извините за пафос, небезразлична, дорога Россия! — с чувством сказал старец. — Современная власть не однородна и не однозначна, в ней слабо, но бродит огонёк добродетели, есть надежда, что он заполнит её всю, возгорится ярким пламенем, согревая и освещая путь людям... Не будем торопиться, чтоб не затушить под горячую руку этот слабый огонёк... Как бы не наступили потом окончательный мрак и разрушение, чего веками добиваются враги России. Может, стоит проявить терпение и мудрость, чтобы не стать прямыми пособниками антирусских сил, чтобы не стать — прости меня, Господи! — новыми... власовцами.

Гость встал, бледнея, стукнул кулаком по сердцу.

— Вы бьёте меня вот сюда! — прошептал он. — Именно власовцем... Я об этом тоже думал... Ведь мы практически с оружием в руках... и нарушается присяга!

— Не делайте этого... что хотите делайте, но только не делайте этого! — вспорхнул старец с табуретки, хватая гостя за руки. — Порвите, решительно порвите со всем и со всеми, а там — что Бог даст! Твёрдо скажите, осеняя себя крестным знамением: клятву лжеклятвою не попираю!

— Если б вы знали, сколько я передумал! Идти — не идти к вам... Я обещал, что не пойду к вам! — с мрачным воодушевлением отозвался гость, — но теперь я благодарен Богу, что он привёл меня сюда... словно плиту с груди отвалили. Я знаю теперь, что мне делать, я знаю, что сказать им... Я скажу, что никогда не стану власовцем, что не стану попирать совесть, а клятву — их лжеклятвою... Что я присягал один раз! Я им скажу, что, целя в режим, они снова могут попасть в Россию, погубить всё, что они могут уподобиться тем несчастным, что пытались бороться с советским строем, а вставали в ряды врагов Родины и поднимали вольно или невольно оружие против своих братьев... Мне теперь есть что сказать им, а дальше — будь что будет! — Гость внезапно остановился и с какой-то смертельной тоской и усталостью посмотрел на старца.

— Но только будьте... предельно осторожны, — сказал дрогнувшим голо- сом старец, затаивая вздох и опуская глаза. — У одного милейшего человека

в городе, — в смущении продолжил он, — я познакомился с господином, до удивления похожим на вас... Алексеем Мальковым...

— Это... мой старший брат, — заколебался гость, — только у него фамилия отцовская, а у меня — матери...

— Почему-то я так и подумал, — не смог на этот раз сдержать вздох старец. — Решительный человек... В детстве он вас не поколачивал случайно? — неожиданно спросил он.

— Нет, мы росли в разных семьях, — неохотно ответил гость.

— Это многое объясняет, — понимающе улыбнулся старец, усаживаясь на прежнее место. — Между прочим, в этой книге, — кивнул он в сторону фолианта на столе, — встречается фамилия Мальковых... Это записи... своего рода дневник моего предка, жившего в семнадцатом веке.

— Интересно! — воодушевился гость. — И что же там сказано о Мальковых?

— В книге упоминается семья Мальковых — Агафон и Марфа с их детьми, которые предали себя огню в нашем скиту, на месте которого потом поставили часовню, восстанавливать которую вы собрались... Немного, но в каком контексте! — воскликнул старец и неожиданно со значением добавил: — В ваших жилах течёт протестная кровь...

— Наши предки за веру сжигали себя, шли до конца... — нахмурился от какой-то неприятной мысли гость. — Эту историю я знаю... Мы действительно по отцу староверы из Никольского, есть тут село километрах в двадцати пяти вверх по Боганке, до сих пор глушь непролазная... Брат составлял родословную, находил подтверждение этой гари с нашими предками в каких-то других источниках...

— Тогда вы, верно, знаете и историю о том, что дети этих самосожженцев спаслись? — живо спросил старец. — Тут кроется какая-то тайна. Вашему брату на сей счёт в документах ничего не попадалось?

— Про спасшихся детей... от брата слышал, — сказал гость, пряча глаза. — Думаю, это просто легенда.

— Не знаю, не знаю... — пристально посмотрел старец на гостя. — Есть в этой книге, — он снова кивнул на фолиант, — одна странная запись, что дети числом до семидесяти разобраны были потом по дворам людей древлеправославного чина. Что за дети, как они там оказались, так много сразу, в доме моего предка протопопа Никиты? Несколько предложений до этой фразы, как я понимаю, объясняющих смысл записи, густо зачернены, замазаны... не разобрать... но я постараюсь...

— Думаете, удастся разобрать? — чутко напрягся гость.

— С помощью специальной техники, разных приёмов... почему бы и нет! — уверенно сказал старец. — В одном реставрационном центре в Москве у меня работает старый знакомец ещё по загранице, он тоже вернулся, большой поклонник древнерусской иконы... Он такие чудеса творит! На этой неделе я отвезу ему книгу, и тайна удивительного спасения детей, думаю, будет раскрыта.

— Спешите, святой отец! — вдруг вырвалось у гостя. Судорога исказила его лицо. — Вы не представляете, вы можете спасти всё... одним только касанием, одним только прикосновением... Спешите! И низкий вам поклон за всё! — Гость в лихорадке вскочил с кресла, сделал неуклюжую попытку поклониться старцу, но только раздражённо отмахнулся от чего-то и, на ходу прихватывая бейсболку с гвоздя в дверном косяке, опрометью бросился из кельи.

Чем меньше оставалось времени до окончания ремонта в установленный срок, тем чаще появлялся у меня во дворе Лёха. Оно и понятно, срок был положен им жёсткий — почему-то непременно к пятнице. Приезжал он обычно на короткое время, бежал в подвал “проводить планёрку”, затем уезжал. Говорил, что получил спецпропуск в воинскую часть и начал завозить стройматериалы на часовню. Видно было, что крутится человек. Был он всю

неделю до известных событий как-то затённо и зло немногословен, собран и чрезвычайно деятелен. Со мной обычно перебрасывался парой фраз, всё больше о Мише Васильеве — приедет ли? На рабочих часто спускал собак, ярился, жёстко подгонял. Те выкладывались в полную меру сил. На работу приходили к семи утра, заканчивали поздно, часов в девять вечера. Достраивали терраску при свете мощной лампы, которую вывели на улицу.

В четверг после полудня всё было закончено. Подъехал Лёха, вместе приняли работу. В подвале я особенных перемен не заметил — пара швеллеров на полу и под потолком, между ними — несколько стальных подпорок, вдоль стен — с десяток забетонированных шурфов. Непонятно, куда ушло столько цемента? На что Лёха разъяснил, что шурфы пришлось бить под уклоном, несколько метров глубиной, вот туда весь бетон и закачали. Я понимающе кивал головой... А вот терраска получилась отменная. На высоких столбах, просторная и светлая, она ладно прилепилась — как будто была тут всегда — к глухой стороне дома (от опоясывающего, кругового варианта, чтобы не портить общий вид старой постройки, решили отказаться) с видами на Заречье. С первого этажа в неё был проделан отдельный вход. И теперь, не выходя из дома, можно было любоваться, скажем, за чаем, нашими “вечными просторами”. И в целом, как я уже говорил, моя древняя халупа, обшитая сайдингом, а теперь ещё с роскошной терраской, невероятно похорошела и заиграла. Не буду скрывать, меня раширало довольство. На радостях я “накрыл поляну” под липами. Пока строители загружали инвентарь и остатки материалов в “рафик”, пока умывались и рассаживались за столом, отвёл Лёху в сторону. Достал деньги за работу, по моим возможностям довольно приличную сумму.

— Что ты! — решительно отвёл в сторону мою руку с купюрами Лёха. — Мы же договаривались, я делаю это исключительно по дружбе... А потом — принимай это как скромное вознаграждение за старания с чашовней. Кстати, — достал он из бокового кармана бумажный конверт, — здесь обещанный гонорар твоим пиарщикам.

Принимая конверт от Лёхи, я всё-таки попытался впихнуть ему мои деньги в карман куртки. На этот раз Лёха жёстко ошетинился.

— Я же сказал, не надо! Что ты сопли развозишь! — зло бросил он. — Ты своим интеллигентским сюсюканьем достал меня!

Теперь было впору обижаться мне. Я набычился.

— Ну, ладно, извини, — по-дружески приобнял меня за плечи Лёха. — Ты не представляешь, как заматался я... Всё на нервах, — и неожиданно странно шепнул на ухо: — Может, скоро деньги для меня совсем отменят... попаду прямиком в... коммунизм.

За столом Лёха был мрачно сосредоточен. Сам только пригубил, рабочим в приказном порядке разрешил не более трёх рюмок. “Завтра ответственная работа на территории”, — сказал он. Усатый, переглянувшись с товарищами, согласно кивнул головой. Я поблагодарил всех за ремонт, принял чуть больше нормы, чувствуя, как заползает в сердце странная, казалось бы, беспричинная, тревога и немотивированная грусть. Обычно, как я уже говорил, подобное со мной случается после выпивки. А вот чтобы в процессе... Такое было впервые. Я подумал, что в этот отпуск почему-то совсем не отдохнул и что это Лёха своим угрюмым, насупленным видом нагоняет уныние и тоску. И принял ещё. Расставались мы с Лёхой опять же до странности, как никогда, тепло и сердечно, я бы сказал, даже прочувствованно, чуть ли не со слезой. С чего бы это суровый и трезвый Лёха так растрогался и размяк?

Лучшим средством от разного рода недугов, в том числе и душевных, в родном Своробоярске для меня была, как я уже говорил, прогулка по реке на лодке. А тут ещё вдруг и старца захотелось повидать. Что-то угадывалось в нём особое, был он, безусловно, из какого-то другого мира, в прямом смысле носитель истории, и это к нему меня страшно влекло... Словом, я отвязал лодку и направился к монастырю. Но вот незадача: как и в прошлый раз, у монастырских ворот мне объяснили, что старец в Москве и будет только завтра. И слава Богу, думал я на обратном пути, а то появился бы перед

почтеннейшим, старым человеком крепко выпившим. Стыда потом не обрётся!

Усиленная работа вёслами, да ещё против течения, выгнала хмель, как хорошая парилка. Подгребая к своему бережку, я подумал вдруг: а не много ли было возни с подвалом? Странная мысль, догадка не догадка, но что-то, похожее на озарение, заставило меня быстро управиться с лодкой и на рысях поспешить к дому. Я спустился в подвал, включил свет и на коленях принялся сантиметр за сантиметром простукивать прихваченным в подсобе молотком каменные плиты пола. Я излезал подвал вдоль и поперёк, передвинул с места на место кучи какого-то накопившегося старья, но нет, плиты везде отзывались ровным, чистым звуком. “Но ведь что-то они однозначно искали, прикрываясь всей этой чепухой об укреплении фундамента!” — всё больше увлекался я неожиданным предположением, ползая на коленях по вместительному каменному пространству. Я оглядывал высокие арочные своды, тщательно выложенные красным кирпичом с белыми известковыми швами, тяжёлую, какую-то монументальную глыбистость стен из плотно подогнанных огромных валунов и думал, что эта пещера, невероятно прочно и старательно сработанная, не может не хранить какой-либо тайны... Ведь не для картошки же только и поломанной утвари она сооружалась! Покончив с полом, простучать основательно стены решил с утра. Я почувствовал, что очень устал, да ещё эта выпивка... И пошёл спать.

Наступила пятница. Несчастливый день пятница... Уже с утра всё пошло не так. Раньше времени заявился Миша Васильев. Я договаривался с ним где-то к двум-трём, а он подкатил к одиннадцати. “Проскочил без пробок”, — сказал он таким тоном, словно выиграл миллион в лотерею. И нарушил все мои планы с подвалом. Я встал, как обычно, поздно и как раз к одиннадцати намеревался заняться там стенами. Теперь всё откладывалось “на потом”. Не полезешь же с Мишей в подвал, не начнёшь при нём простукивать стены! А меня распирало, я чувствовал, что обнаружу что-то очень важное... Я злился, и как это мне вчера не пришло в голову, что Васильев может появиться раньше обговоренного времени и нарушит все мои планы. Сказано, ругал я себя, не откладывай на завтра...

— Что-то ты сегодня, дружище, какой-то озабоченный и выглядишь бледновато, — сказал Миша, выкладывая на стол под липами московские подарки. В этот приезд он решил, видимо, отдариться. — Не случилось ли чего? — пощупал он меня своими непроницаемыми шоколадными глазами.

Я сослался на головную боль с утра. Что, впрочем, было недалеко от истины: чувствовал я себя неважно, голова была тяжёлой, мутило.

— Атмосферное давление растёт. Я тоже стал метеозависимым... Обычно глотаю цитрамон, помогает, — участливо откликнулся Миша и добавил, посмотрев на небо: — На завтра и на послезавтра обещают почти летнюю погоду... Легче народ на площади собрать... — добавил он.

— Ты это о чём? — уловил я в Мишиных словах скрытый намёк.

— Да так... — пожал плечами Миша. — Феодосий Пальч звонил, приглашал на митинг.

— Совсем сбрендил, балабол несчастный! — вырвалось у меня.

— Как знать, как знать, — пожал плечами Миша. — Судя по прошлой встрече, настроен он весьма решительно тронуть местный змеиный клубок.

— Да чего они могут — десяток провинциальных говорунов, — сказал я, нарочито позёвывая.

— Вот именно — провинциальных! — поднял вверх указательный палец Миша. — Тут надо всё усваивать в общем контексте... Шеф намекнул, что сегодня на Совбесе будет рассматриваться вопрос о нарастании протестных настроений в регионах. Понимаешь?

— Неужто протестные настроения нарастают? — не скрывая иронии, спросил я. — Что-то незаметно невооружённым глазом...

— Это хорошо, что невооружённым... — хмыкнул Миша и с важностью человека посвящённого добавил: — По закрытым данным, всё не так про-

сто... А вообще-то размышления-откровения этого, как ты говоришь, балабола Никанорова тебе хорошо знакомы?

Я утвердительно кивнул. Что-то подсказывало мне, что слова тут будут лишними.

— Этот старикан ловит определённое биение общественных токов, — повёл Миша, словно к чему-то принохиваясь своим тонким, хищным носом, — у него, говоря на современном сленге, есть чуйка. У людей накапливается усталость от коррупции, бездействия, безынициативности местных властей, когда на просто воруют, а саботируют от лени и вседозволенности инициативы верховной власти... Все поголовно зажрались и опаскудели... Я вот второй раз в вашем городке, проехал сегодня, внимательно посмотрел — какая дикая запущенность и убожество кругом! Что, нельзя навести элементарный порядок? Почистить дворы, отмыть подъезды, подмести тротуары? Что, нет денег? Да денег на это надо три копейки! А это значит — всё, всё до последнего грошика разворовывается, и полный пофигизм! Одна забота — пока у власти, набить карманы. А там — трава не расти... И это всё твой Феодосий Пальч тонко чувствует... Он мне прошлый раз много чего порассказал... Его оценки совпадают с выводами закрытых исследований... Людей начинает всё это доставать. Тут только в нужное время и в нужном месте спичку поднеси — разом всё может полыхнуть!

Я молчал. Голосом Миши одновременно говорили и Феодосий Павлович, и Лёха. И это было странно. Как будто Миша воспроизводил магнитофонную запись размышлизмов обоих.

— К слову, — продолжил Миша после небольшой паузы, так и не дождавшись моей реакции, что вызвало у него, как мне показалось, явное неудовольствие, — идея Никанорова о превращении России в мировой центр традиционализма очень понравилась шефу. Это действительно может стать мегапроектом для возвращения России в разряд супердержав. Напоенная энергией и созиданием всех здоровых сил мира, наша Раша может стать локомотивом возрождения человечества. Иначе — Содом и Гоморра размером с планету Земля...

— Идея понравилась, дальше что? — я с трудом сдержал раздражение.

— Шеф обещал озвучить её самому... — Миша показал глазами вверх.

— А вдруг это случится сегодня на Совбезе?! И Феодосия Пальча сделают советником “самого”, ответственным за мегапроект, его идея возродит страну, изменит ход истории... — заёрничал я.

— Пока, увы, всё необходимо сделать с точностью до наоборот — остановить Феодосия Пальча! — снисходительно прищурился на меня Миша.

— Как это — остановить?! — вскинулся я.

— Да так... обыкновенно, — с нарочитым равнодушием пожал плечами Миша. — Необходимо отозвать разрешение на проведение митинга.

— То есть запретить? Прекрасно! Замечательно! — не удержался от сарказма я. — Это, пожалуй, самое надёжное средство в борьбе с протестными настроениями.

— А что делать? — иронично смерил меня взглядом Миша. — Старик и его окружение своей общественной активностью, этими митингами могут спугнуть главного местного казнокрада... этого, как его... курочка по зёрнышку... Крошкина. Понимаешь, — тихо сказал Миша, — так они всю операцию невзначай завалят.

— Какую операцию? — прилип я к скамейке.

— Из одного источника... — тщательно подбирая слова, продолжил Миша, — поступила информация, что там, — он показал глазами в сторону Заречья, — что-то не так, есть подозрения, что местная власть в каком-то стоворе с вояками... Может, бабло пият, а может, и похуже что... Точных данных нет... надо разбираться... Да тут ещё этот старец из Америки прибыл... Ты ничего такого не слышал? — ошарашил он меня откровенным вопросом.

— Ничего... — растерялся я и почему-то постарался честно посмотреть Мише в глаза. Миша тонко ухмыльнулся.

— В общем, — приблизил он своё лицо ко мне, — этому “курочке по зёрнышку” не надо пока мешать лакомиться бюджетным пирогом... Надо

посмотреть, куда от него ниточки тянутся. Теперь он под надёжным колаком... Главный землемер своё дело уже делает.

— Калеватов? — совсем не удивился я.

— Он самый, — усмешливо сказал Миша. — Теперь давай перекусим, и я поеду “куда надо” отменять митинг.

Мы выпили по рюмке, другой. Закусили красной рыбкой. Миша, я заметил ещё со студенческих времён, любил рыбку. Сколько селедки и скумбрии с горячей картошкой под пиво и споры было съедено... Неужели он всё-таки уже тогда?..

— Слушай, а ты давно там? — брякнул я и побарабанил пальцами себе по плечу.

— Вижу, голову совсем поправил, — заиграл непроницаемыми, шоколадными глазами Миша, — хорошие вопросы задаёшь.

— Нет, ну всё-таки... Вспомнились гулевания в общаге, вольные беседы... Неужели с тех времён? — решительно напирал я.

— Успокойся, дружище, — сузил глаза в щёлочки Миша, — даже если бы это было так, никто же не пострадал!

— Что верно, то верно, — кивнул я, — бывали речи крамольные... Про тебя, кстати, говорили, что ты оттуда. А нам ещё и двадцати не было...

— Дело прошлое... наследственное, — витиевато сказал Миша, — от родителей к старшему брату... Он появился на свет раньше меня на целых двадцать минут... от него ко мне...

— Слушай, старина, — стукнул я рюмкой по столу, — только ты меня в свои дела не впутывай! Я честный, простой журналист!

— Рад бы, да не могу, — смаргивая взгляд, часто затрепетал ресницами Миша. — Оказался ты, соколик, волею рока востребованным могущественными силами, попал ты, дружочек, под колесо истории...

— Мне не до шуток! — застучал я уже кулаками по столу.

— И мне, — посуровел Миша. — Никто тебя никуда впутывать не собирается... Получилось так — вот незадача! — что именно рядом с тобой оказались люди, которые нас интересуют. Потерпи, буду приезжать, долго “покупать” участок под дачу, отираться здесь, знакомиться через тебя с этими людьми... Извини, почему-то все они крутятся именно вокруг тебя... Ты должен соблюдать только одно условие — не трепаться, держать язык за зубами.

— И всё-таки, это какое-то косвенное вовлечение, — проямлил я. — Зачем ты всё это мне рассказал? И что это за странное замечание, что все они крутятся именно вокруг меня?

— Вот, правильно размышляешь, — с весёлой назидательностью сказал Миша. — Действительно, бросается в глаза, что они почему-то сгруппировались вокруг тебя... И если б я не знал тебя почти тридцать лет, ты оказался бы тоже, как это говорят, в разработке... Но ты не в разработке...

— Благодаря тебе? — начал закипать я. — Спасибо, благодетель!

— Да, благодаря мне... Напрасно иронизируешь, — с неожиданной повелительной холодностью бросил Миша. — Я знаю тебя... На что-то такое, — пошевелил он растопыренными пальцами у виска, — ты никогда не пойдёшь... Ты вне подозрений, и поэтому я тебе всё, что позволено, рассказал... И куда я тебя, ни косвенно, ни прямо не собирался и не собираюсь выкинуть. Но ты, — Миша вдруг широко посмотрел мне в глаза, — проходишь как связующее звено. Увы, таких ты себе здесь друзей подобрал, поэтому тебе, понимаю, как истинному интеллигенту и “честному, простому журналисту”, — не удержался съехидничать он, — придётся претерпеть определённые нравственные неудобства.

Слушать мутные речи Миши я был дальше не в силах.

— Да не хочу я ничего претерпевать! — зашёлся я. — И всю эту твою конторскую эквилибристику слушать не хочу! Какое, к чёрту, связующее звено? Вяжите ваши звенья и узлы без меня! Завтра я уеду отсюда и давай больше в этот сюр не возвращаться!

— Как скажешь, отче, — пряча взгляд, опустил глаза Миша, — только, боюсь, этот сюр достигнет тебя без твоего и моего согласия. — Миша сделал выразительную паузу. Я, стиснув зубы, приходил в себя.

— По той информации, — сказал обронил Васильев, — каким-то боком, в каком-то раскладе — информатору достался только обрывок случайно подслушанного разговора на улице — должен быть в какой-то тёмной комбинации использован твой дом. Ты ничего не замечал тут, не было ли каких-нибудь нечаянных, подозрительных визитеров? — снова в лоб спросил меня Миша.

На этот раз я только поморщился.

— Хорошо, хорошо, не буду, — сделал успокаивающее движение рукой Миша, — а ремонт тебе сделали приличный. Что за люди у тебя работали?

— Люди как люди, — сказал я нейтрально, — профессионалы, пахали, как звери.

— А откуда они, кто их привёл? — вкрадчиво спросил Миша.

— Лёха Мальков, это его работники... из его строительной бригады.

— Мальков — это тот, с неандертальской челюстью? — неприязненно гримасничая, скопировал Лёху Миша. — Кстати, он обещал в прошлый раз подъехать сюда, встретиться. Что-то его не видно...

— Закрутился, наверное. Он начал восстанавливать часовню... — сказал я, доставая из кармана куртки заработавший мобильник, — о, лёгок на помине! — на мониторе высветился номер Лёхиного телефона.

Лёха справился, приехал ли Миша, и попросил передать ему трубку. Переговорив с Мальковым, Миша задумался.

— Приглашает вечером поужинать, как и в прошлый раз, “У Вадика”... Не помню, но, кажется, про Совбез я ему ничего не говорил... но он откуда-то знает, странно...

Я извинился, что допустил утечку информации.

— Это меняет дело, — облегчённо выдохнул Миша, — а то чёрт знает что лезет в голову... Неприятный тип этот Мальков, скрытный, решительный, какой-то обзолённый... В руках таких в определённых исторических обстоятельствах лезвие гильотины порхает, как бритва искусного брадобрея.

— Ты его демонизируешь... Гильотина... Ну, просто Робеспьер Свободянского уезда, — засмеялся я. — Обыкновенный делец средней руки... тут станешь обзолённым между мздоимцами-чиновниками и бандитами.

Миша насмешливо хмыкнул, иронично пощупал меня взглядом.

— Мне пора на встречу, “простой и честный журналист”... Ну, ты, Кириуха, выдал! Перл! Всем расскажу, какой ты журналист. — И он захохотал, направляясь к машине.

Я бросился в подвал. Обстучивать стены начал почему-то справа налево, а не наоборот. Начал бы наоборот, не случилось бы того, что случилось потом... Но кто знает, с какой стороны лучше обойти змею... Я вспоминал Мишины слова, что дом может быть использован кем-то как-то не так, что удивительно совпадало с моими неясными интуитивными ощущениями, и в каком-то возбуждённом состоянии тщательно простучал каждый камень в правой стене. Ничего подозрительного. Приступить к противоположной стенке, со стороны Заречья, мне не дал внезапный шум наверху в доме. Кто-то громко, почти заполошно, звал меня по имени. Чертыхнувшись, я поднялся из подвала на крик. Это был запыхавшийся, взъерошенный, с белой пенкой в уголках рта Феодосий Павлович.

— Эти мерзавцы, эти дрянные мелкие людишки, они отменяют митинг! — завопил он, увидев меня. — Звоню тебе по городскому, звоню по мобильному — ты не отвечаешь! Надо что-то делать! Какое они имеют право отзывать разрешение на проведение мирной акции?!

— Вы что, бежали сюда?... Городской телефон на втором этаже, а мобильный в подвале не берёт, — не нашёл ничего глупее сказать я.

— Да плевать я хотел на твой мобильный! Что будем делать? — тарачил глаза Феодосий Павлович. — Люди сориентированы, оповещены... Они думают, что так просто остановить крупное общественное мероприятие? Нет, господа чиновники, так не пойдёт! Все до единого выйдем! Пусть лупят дубинками, кидают в автозаки! Они нарвутся на скандал! Они думают, с нами, как с малыми детьми, можно: конфетку дал, конфетку взял. Вот продажное, трусливое племя! Ну, что с ними делать? Слушай, Кирилл, — нервно сказал

он, — твой влиятельный приятель из Москвы ещё не приехал? Может, его на наши кувшинные рыла напустит?

— Он здесь, уехал в офис Малькова, по будущей даче что-то порешать, — соврал я. А что мне оставалось делать? Не рассказывать же Феодосию Павловичу о Мишиной непростой миссии к нам. “Вот так и становятся связующим звеном”, — неприязненно шевельнулось в душе. Но, должен признаться, мне больше всего хотелось побыстрее выпроводить старика, чтобы вернуться в подвал.

Но Феодосий Павлович назойливо не уходил. Он, видимо, решил всё-таки дожидаться моего “влиятельного” гостя и через него попытаться что-то изменить. Чувствовалось, что решение о запрете митинга больно задело его. С обидой он начал рассказывать, как долго писал речь, как сам рисовал плакаты, обзванивал чуть ли не каждого... В расстроенных чувствах Феодосий Павлович отказался даже от рюмочки, только вяло съел бутерброд с рыбой и запил минеральной водой. Бурно выплеснув эмоции, стал тих и задумчив. Так и просидел на лавочке под липами практически молча где-то около часа. И только когда минуло четыре, спохватился, что на шестнадцать тридцать у него собирается правление НКО. Он ушёл, на прощание сказав, что завтра, тем не менее, ждёт меня в десять на митинге. Он на что-то решился. Я ещё раз пообещал, что приду.

Странная лень и всепроникающая апатия напали на меня после ухода Феодосия Павловича. Какое-то полное замирение случилось во мне и вокруг. Беззвучно умирали и падали в золотистых столбах света на землю листья с деревьев. Я пригрелся под ещё тёплым сентябрьским солнцем, разомлел, голова моя сама легла на столешницу, и я под назойливую мысль о подвале, что надо встать и идти, вдруг как-то мгновенно и сладко заснул. Во сне я увидел Лёху, склонённого и горько рыдающего над мёртвым, израненным, в крови телом брата. Почему это было тело Лёхиного брата, которого я отродясь не видел, объяснить во сне я не мог. Но ясно понимал всё именно так. Проснулся от страха, пробравшего ледяным холодком волосы на затылке.

— Во сне ты стонал, — сказал Миша, уже сидевший напротив за столом, — что-то страшное приснилось?

— Ужас! — потряс я головой.

— Послеобеденный сон — тяжёлый сон, — понимающе посмотрел на меня Миша, — всегда приснится какая-нибудь галиматья... да ещё в пятницу, — зачем-то добавил он.

— В пятницу?

— Ну да, в пятницу, — кивнул Миша, — нечистый, inferнальный день.

— Ну, ты скажешь тоже, — заторможенно сказал я, всё ещё не приходя в себя от пережитого во сне. — Наделал ты, брат, делов! — вырвалось у меня, — Феодосий Палыч уже прибежал, как наскипидаренный.

— Чего ему? — насторожился Миша.

— За помощью прибежал... К тебе как большому человеку из Москвы, — сказал я, подавляя раздражение. — Митинг-то прикрывают, шустряло ты наш!

— Пусть побегает, старый болтун! — зло бросил Миша. — Он так и не понял, в какое время переполз... Дитя эпохи кухонного вольнодумства.

— Удивительно, такими же эпитетами его награждает и Лёха Мальков, — почему-то сказал я.

— Твой Лёха — не дурак, — цапнул меня взглядом Миша, — объект, достойный изучения... Кстати, обещал подбехать к пяти, — Миша взглянул на часы, — сейчас начало шестого. Не пунктуальный, однако, этот Робеспьер Свободярского уезда... — неприязненно ухмыльнулся он.

И в этот момент у Миши зазвонил телефон.

— Какой-то неизвестный номер, — насторожился Миша, извлекая мобильник из кожанки и привычно поднося его к уху. — Вас слушают... — отрететированным баском, бархатно проворковал он в трубку.

Через минуту он стал белее мела и судорожно переключил аппарат на громкую связь.

— Повторяю, сейчас ты возьмёшь телефон спецсвязи, — услышал я командно-свирепый голос Лёхи, — он лежит у тебя в боковом кармашке, рядом с кобурой, наберёшь своего шефа и будешь передавать ему слово в слово то, что скажу тебе я. Тот, в свою очередь, будет передавать всё президенту. Совбез уже начался. Ты всё понял?

— Я не стану этого делать!

— Тогда в заявлении нашего комитета в интернете я специально подчеркну, что твоя раба трусость и плебейское желание спасти собственную шкуру привели к катастрофе, которой можно было избежать. Ты погоришь ещё страшнее, пойдёшь как недонесший, а то и вероятный соучастник... Отмазывайся потом! А так есть шанс всего лишь стать связующим звеном, — с явной издёвкой отхлестал Мишу Лёха. — Выбирай, недреманное око!

Миша достал из бокового кармана изящный, на вид очень дорогой, в серебристой окантовке мобильник, нервно перекрестил им себя, и нажал на кнопку на панели.

— Переведи на громкую связь! — приказал Лёха, как будто стоял рядом.

Долго, показалось, слишком долго никто не отвечал. Миша приходил в себя, схлынула бледность, сфокусировался взгляд. Наконец, трубка донесла достаточно знакомый голос третьего человека в государстве.

— Ты что, сдурел? Не знаешь, где я?! — гневно заговорил Мишин шеф.

— Виктор Сергеевич, ЧП, страшное ЧП! — простонал Миша. — Я в Свобобоярске... На территорию местной ракетной части пробрались какие-то безумцы... отморозки... Говорят, заминировали шахтную установку... предъявляют политические требования... в случае невыполнения грозят взорвать ракету с ядерной боеголовкой.

— Вы где сейчас? Как вы? — перешёл на “вы” третий человек в государстве.

— Я на связи с ними, по параллельному телефону, — срываясь, просипел Миша.

— Не прерывайте связь... Ждите, — в нерешительности сказал третий человек в государстве. И после паузы почему-то добавил: — Возвращаюсь на заседание.

Миша стоял, как на готовой взорваться мине, подобравшись и вытянувшись в струнку, нелепо зажимая голову с обеих сторон телефонами. Крупные капли пота выступили у него на висках и на лбу. Я достал платок и, как ассистент к хирургу, потянулся вытереть Мишино лицо. Миша вытаращил в испуге глаза, а потом благодарно закивал головой.

— Докладывайте, что у вас? — вдруг ровным спокойным голосом заговорил президент.

Миша вздрогнул и снова страшно побледнел.

— Товарищ президент! На территорию Свобобоярской гвардейской ракетной дивизии пробралась группа террористов... — зачистил, было, он.

— Это я уже знаю, — прервал его президент. — Мне сказали, вы держите с ними связь по параллельному телефону. Включите громкую связь и поднесите его к трубке, по которой сейчас говорите... Возможно, слышимость будет достаточной.

— Возможно, — глупо сказал Миша и приблизил задрожавшими руками, как две тротиловые шашки с подключенными детонаторами, телефоны друг к другу.

— Кто вы? И чего хотите? — в меру властно, уверенно спросил президент. — Вы слышите меня?

— Глава комитета “Спасение России” Алексей Мальков, — тоже достаточно твёрдо ответил Лёха.

— Не знаю такого комитета, — бестрепетно произнёс президент. — Так чего вы хотите?

— Немногого, — сказал нарочито весомым голосом Лёха, — всего три условия. Первое — вы немедленно отправляете в отставку в полном составе ныне действующее правительство с одновременным назначением нового премьер-министра из числа сильных, волевых государственных интеллектуалов. В вашем окружении их, к прискорбию, немного, но есть... Второе —

вместе с новым премьером вы формируете правительство народного доверия и объявляете новый курс развития страны на мобилизационной основе. Россия медленно умирает. Этому надо радикально положить конец. И третье — вы назначаете по состоянию здоровья дату досрочных президентских выборов. С расчётом по времени, что страна сможет достойно оценить нового главу кабинета министров и проголосует за него. — Лёха помолчал. — У вас на раздумье чуть больше часа... в девятнадцать ноль-ноль вы должны выступить с соответствующим обращением к народу... Иначе рванёт ядерная ракета с непредсказуемыми последствиями... таймеры уже включены.

— Это грязный шантаж, — грозно повысил голос президент на фоне достаточно хорошо различимых возмущённых выкриков, видимо, членов Совбеза. — И вы за него ответите по всей строгости закона.

— Это принуждение к действию, — с вызовом ответил Лёха. — Всё, что могли полезного для страны, вы уже сделали. Но, к сожалению, вы не реформатор... Выстроить новую, могучую Россию, как показала практика, у вас не получается. Сейчас России нужен другой человек... Отдайте власть энергичному, решительному и образованному государственнику современной формации, пока вас не смел праведный народный гнев или инспирированный пятой колонной какой-нибудь московский “евромайдан”. Не доводите страну до новой великой смуты, она её больше не выдержит...

— Что с командиром части полковником Шатровым? — резко перебил президент Лёху.

— Он взят в заложники! — отрывисто бросил тот.

— Вы можете дать ему трубку? — помолчав, спросил президент.

— Он оказал сопротивление... сейчас изолирован, — осторожно сказал Лёха.

— Мерзавцы! Вы и за это ответите! — яростно вырвалось у президента. — Как террористы вы будете уничтожены!

— Мы знали, на что идём... — мрачно изрёк Лёха, — мы готовы умереть ради величия и процветания России... Но и вам, — возвысил голос Лёха, — не удержаться после взрыва. У взрыва будет длинная волна... До вашего обращения к народу остался ровно час! — выпалил вдруг он и отключил телефон.

— Не пугайте и не прикрывайтесь святым словом Россия, ничтожество! — выкрикнул уже безадресно президент.

Повисла мёртвая пауза.

— Кажется, отключился, — прокомментировал президент и, судя по характерному шороху, отшвырнул от себя трубку.

— Срочно отправить группу захвата! Какая там рядом армейская часть? Подтянуть войска! Блокировать по периметру, чтоб мышь не проскочила! Поднять спецназ! Задействовать местное ФСБ и полицию! — какое-то время неясно воспроизводил шум и разноголосицу Совбеза Мишин спецмобильник, пока кто-то там, на другом конце провода, не догадался отключить телефон. Видимо, это был Мишин шеф. Только после этого сбросил с себя оцепенение и Миша.

— Я же говорил! Я же говорил тебе, что он сволочь! — подскочил, как со змеей в штанах, Миша. — Что он творит, гадина! Что он творит! — забегал он фаустовским пуделем вокруг стола.

Я оглушённо молчал. На моих глазах закручивалась история. Со зловеющим треском разрывалось и летело в тартарары привычное бытие.

— Я убью его! — остановился в кружении Миша и выхватил откуда-то из-под мышки пистолет. Голова его затряслась, глаза налились кровью, волосы приподнялись на макушке, и он остервенело расстрелял всю обойму в воздух. — Всё пропало! — рухнул он на скамейку, сметая рукой с оружием бутылки и снесь со стола. — Всё пропало, Кирюха! — вдруг завыл-запричитал он. — Всё летит к едрёной фене! Тридцать лет безупречной службы... В ноябре мне давали полковника, переводили в Администрацию, сытая, безбедная старость... Всё к едрёной фене! Мне надо было здесь появиться раньше... Ведь наш человек засёк этот разговор ещё весной... Подумали, ослышался. Теряем нюх, теряем страну... Четвёртый раз за столетие...

На этот раз соберём ли?! И всё из-за каких-то нетерпеливых выскочек! Когда же русский человек поумнеет?! Когда он перестанет позволять манипулировать собой?! — Миша встал из-за стола, на глаза его навернулись слёзы. Дрожащими руками он механически поменял обойму в магазине пистолета, механически передёрнул затвор, загоняя патрон в патронник. — Надо позвонить в местное ГПУ, хотя всё уже бесполезно... — Миша набрал номер на мобильном и, негромко, заговорив с кем-то, пошатываясь, удалился вглубь двора. В сторону Заречья над нами, свирепо работая винтами, прошли три боевых вертолёт.

В великой задумчивости вернулся Миша к столу. Печально проводил взглядом улетающие машины.

— Этих придурков, если они засели в шахте, с воздуха не возьмёшь... Да и небезопасно, — до странности равнодушно, что поразило меня, сказал он, — без наземной операции здесь не обойтись... Сейчас туда выдвигаются местные габисты и усиленный наряд полиции. А я посижу тут, покараулю на всякий случай... Что-то от тебя ему всё-таки нужно было, — осторожно, как к чужим, притронулся Миша к волосам на макушке. — А если они и вправду взорвут ракету с ядерной боеголовкой? — расслабленно задался он вдруг безответным вопросом. — От детонации она может рвануть в шахте, ну, крышку снесёт, атом вряд ли заиграет, хотя чем чёрт не шутит... Но непровольный старт обеспечен... И где она приземлится?.. Ну, мрази, что устроили! А сколько вони Штаты поднимут — ненадлежащий контроль за ядерным арсеналом и прочее! Будем надеяться, их уничтожат раньше... А что он сказал о командире части? “В заложниках, в отключке”? Фарс, дешёвая игра... Они же братья. Не знал?! — Миша зло посмотрел на меня. Я не успел ответить. В кармане Мишиной кожанки вновь заработал телефон.

— Это он, — взглянув на монитор, заколебался Миша, но всё же нажал кнопку на приём. — Говори! — мрачно прорычал в трубку он, переводя разговор снова в режим громкой связи. Я понял — меня тащат в опасные свидетели.

— Нас атакуют! — кричал Лёха. — Наши требования проигнорированы... Им же хуже будет! Скоро семь, обращения к народу, ясно, уже не будет. Это его роковая ошибка. — Миша поморщился и сделал движение отключить связь, но что-то его остановило. — Передай потом по инстанции, — продолжал возбуждённо и торопливо Лёха, — договориться можно было... Не с нами — с народом теперь получается, со страной! Но решили, как водится, всё через колёно... Историческая ошибка! Силой народ не возьмёшь... Дни этого режима сочтены!

— Что ты, мразь, за пургу гонишь! — заорал, перебивая, Миша, одновременно странно каким-то холодным взглядом следя за мной. — Не говори за народ, упырь! Вас уничтожат! Соскоблят, как плесень! Я первый тебя шлёпну, если встречу, урод!

— Не усердствуй особо-то, твоё показное верноподданничество уже никого не интересует! Ты сторел! Передай своему начальству, что тебе говорят, членосол! И отползай в сторону... Ждите весточку! — надрывно прокричал Лёха как бы на отдалении от телефона. В трубке послышались неясные выкрики, треск выстрелов, шорохи, похожие на шум борьбы. Связь оборвалась. Мы переглянулись.

— Похоже, их начали вязать, — рассеянно повертев мобильник в руках, хмыкнул Миша, — заговорщики сраные...

Страшной силы взрыв в Заречье сотряс окрестности. “Вот и весточка!” — мелькнуло у меня в голове. Огромный чёрный столб дыма до неба гигантским факелом вспыхнул и засветился над лесом. В лучах заходящего солнца он на глазах наливался дьявольским рубиново-красным светом. Казалось, все силы ада слили в него огненное содержание реторт своих подземных лабораторий. Достигнув пика высоты, чёрно-красный перст преисподней обмяк, пополз вниз и сизыми рыхлыми облаками стал приседать на обруч горизонта. Земля содрогнулась и заходила ходуном, словно учащённо забился её незримый пульс. В следующее мгновение удар горячего воздуха, спрессованного до силы пушечного ядра, превратил липы над нами в гигантские

буквы “Г” и, играючи вспарывая, как ножницы бумагу, железные кровли, составляя дьявольский пасьянс из сорванных с крыши листов шифера, натягивая до визга струны проводов на столбах, с бешенством обрушился, обламывая старые деревья и ветхие хибары, на город. Деревянные створки ворот на улицу с игрушечной лёгкостью распахнулись, и в свистящем сквозняке, в облаке пыли и палой листвы, гномом из-под земли нарисовалась согбенная, с палочкой в руках, знакомая фигурка старца Нектария.

— Батюшка, вас-то каким ветром сюда занесло! Вас же могло убить этими проклятыми воротами! — с непонятной радостью кинулся я к старцу, едва не обнимая его на ходу.

— В подвал! — нетерпеливо вскричал старец, машинально крестя меня и всем своим видом показывая, что ему не до моих щенячьих восторгов. — Хотя уже поздно! Видно, я опоздал... Тайна дома раскрыта!.. Но я опоздал, Боже мой! — причитал он, бодро семена к дому. Мы с Мишей молча последовали за ним.

Крыльцо, коридор, как всегда полуприкрытая дверь в подвал под лестницей, тёсаные, каменные плахи вниз, на площадке с правой стороны выключатель... Но в подвале уже горел свет. В левой стене, в сторону Заречья, к которой я так и не подобрался с простукиванием днём, на массивных железных петлях со свежей, жирной смазкой висел отворённым огромный камень. Рядом темнела чёрным зевом высокая, почти в рост человека, со сводчатым входом нора. Миша выхватил пистолет и первым подскочил к лазу.

— Ушёл, совсем недавно ушёл! — выкрикнул он, опасно заглядывая в затхлую темноту подземного хода. — Теперь ясно, зачем он тебя обхаживал и что это было за восстановление часовни. Тюфяк! — бросил он мне презрительно. — Не мог проследить, чем у тебя тут в подвале занимаются!.. Но как он проскочил незамеченным мимо нас?

— Через терраску, — сказал я, почему-то почувствовав себя виноватым, — они пробили из дома отдельный вход на новую терраску.

— Всё продумали, стервецы! Но он не мог далеко уйти... Куда он мог рвануть? Думай! — грубо рявкнул на меня Миша и сам себе нервически ответил: — Скорее всего, к реке. Послушай, да там у тебя лодка! — В два прыжка он преодолел ступени из подвала и прогрохотал по коридору на улицу.

— Государев человек... — кивнул ему вслед старец.

— Это Миша Васильев... в институте учились вместе. — Голос мой противно завибрировал. Мне стало неловко и обидно за проявленную слабость перед приятелем. — Как выяснилось недавно, ещё со студенческой скамьи государев человек... — мстительно добавил я, ощутив острую неприязнь к Мише.

— Да не волнуйтесь вы, не злитесь и не бойтесь ничего, трепетная вы душа, — улыбнулся старец и пошутил: — Подземный ход не вы триста пятьдесят лет назад прокопали... А вот ваш приятель, дерзновенный человек, Алексей, кажется, сам над бездной встал и других в бездну тянет... Я хотел, как и брата его, остановить... Не успел... Зачерниленную запись о подземном ходе между домом и часовней в лесу, в той книге, что дали мне вы, в реставрационном центре в Москве только сегодня к обеду расшифровали... Подгонял шофёра... Но, вот видите, не успел...

— Да что же вы не позвонили, не сообщили... к-ку... — запнулся я, — ведь можно было всё предотвратить!

— Вот видите, и вы не договорили эту сакраментальную фразу про... “куда следует”, — старец испытующе посмотрел на меня и внезапно заговорил, словно читая по бумаге: — Представьте себе, вы стоите где-нибудь на Невском и случайно слышите разговор, что адская машина заложена в Зимнем и скоро сработает. Пойдёте вы доносить? Нет! Вот то-то и оно! И я не пойду! — Он остро цапнул меня взглядом. — Знакомы вам эти слова?

— Может быть, это ложные представления о нравственности, чести и достоинстве? И классик ошибался?! — вдруг заколотило меня. — Если бы во времена Достоевского люди начали сообщать о тех же бомбистах “куда следует”, может быть, не было бы этой дикой революции, гражданской войны, миллионов загубленных, власовцев, в конце концов? Не из-за ложного ли

представления о достоинстве, не из-за псевдо-ли горделивого отказа преступить мнимую, никем не определённую нравственную черту, не из-за барско-интеллигентской ли безгливости к так называемому “доносительству” Россия заплатила такую страшную цену в двадцатом веке?

— Не знаю, не знаю, — задумчиво покачал головой старец, — и во времена Достоевского, и сейчас нравственность одна... Я не пойду, хоть убейте, сообщать “куда следует”... таким уж я родился, — ясно посмотрел он мне в глаза. — Что-то мне подсказывает, что и вы не пойдёте...

— Тогда нам предстоит заплатить ещё раз! И, может быть, ещё дороже! — нервно вырвалось у меня.

— Успокойтесь, — осторожно прикоснулся старец своей маленькой ладошкой с прямыми и прозрачными, как восковые свечки, пальцами, к моей груди. — Как сильно бьётся ваше сердце... Берегите себя. Знаете, — сказал он неожиданно, — я убеждён, Россия никогда не умрёт, потому что в ней всегда будут жить те, которые никогда, ни за какие медовые коврижки не побегут сообщать “куда следует”, зная, что в Зимнем заложена бомба и что она срабатывает.

— Понимаю, нам дано улавливать тончайшие оттенки звучанья струн духовных, — взялся неожиданно иронизировать я, — особым нравственным чутьём соприкасаться с истиной небесной, не поддаваться дьявольской игре по переливанию добра во зло и наоборот, мы несём в себе — и этим сильны и спасаемы — неразмываемое веками, кристально-чистое представление, что правильно и неправильно с высоты высших первородных смыслов.

— Если отставить в сторону всю эту вашу напускную насмешливость, то вы сказали замечательные слова, — проникновенно-грустно посмотрел на меня старец. — Действительно, множество раз в этом убеждался, нашему народу свойственно обострённое нравственное чутьё чистого и нечистого... Что дано, то дано, без всякой идеализации и чувства какого-либо превосходства над другими.

— Вот именно, без идеализации, — продолжал я фрондировать, словно сбившись с такта. — Три с половиной века назад по этому подземному ходу уводили детей от смерти, а сегодня, возможно, и на смерть детей, в обратную сторону потащили взрывчатку... Где же оно, это наше пресловутое нравственное чутьё?

— Ну, зачем вы так огрубляете, упрямяетесь, — с мягким укором сказал старец. — И тогда, и сейчас за всей этой историей с подземным ходом стояла и стоит борьба с государством. А это уже другое, это не нравственная категория, скорее безнравственная... Ведь на ту гарь три с половиной века назад привели и детей! Разве это нравственно? А на сегодняшнюю старший брат увлёк младшего, чистую, почти детскую душу... Духовное совращение и погубление невинных — это только то, что лежит на поверхности прегрешений иступлённой воли религиозных фанатиков и политических радикалов. Поэтому их, если так можно сказать, деятельность ничего общего с нравственностью не имеет.

— И всё-таки, — не унимался я, — своего рода сокрытие, недонесение на тех, кто совершает преступные, безнравственные поступки, по-вашему, выходит, нравственно? Так получается?

Старец сокрушенно развёл руками:

— Не так... Не соверши грех внутри себя, останься чистым, и вокруг тебя будет чисто... Люди, которые живут по самым высоким, неподкупным нравственным принципам, составляют духовную крепь нации, народа, ну, а те, кто может и даже считает, что должен при необходимости “сообщать, куда следует”, выполняют функцию физической защиты этноса и образованного этим этносом государства. Одно без другого существовать не может. Как свет и тень, как плюс и минус, как лёд и пламень, как вы и ваш сокурсник Миша... — с тихой, забирающей ласковостью посмотрел на меня старец. — А вот и он, кажется, спешит...

Миша стремительно вернулся, как и уходил, прыгая теперь уже через ступеньки вниз, по поясу мокрый, перепачканный тиной, грязью и речным песком.

— Не нагнал! — выдохнул он, присаживаясь на оставленный рабочими шаткий верстачок и выжимая-отглаживая на себе штанины, — пришлось по воде спрямлять, чуть не вплавь... Но я уже созвонился, вниз по реке расставлены полицейские патрули... Далеко не уйдёт.

— А почему ты решил, что он взял по течению? — не скрывая насмешки (пришло время отыграться), спросил я.

Миша недоумённо воззрился на меня.

— Физически он очень сильный и с нестандартной кумекалкой, он легко мог пойти и против течения, тем более что у Чугунного моста, тут километрах в полутора вверх, все поезда притормаживают... Так что Лёха, наверное, уже далеко, — признаюсь, с удовольствием отгапывался я на Мише.

— А ты, я смотрю, чуть ли не рад! — злобно зыркнул на меня снизу вверх, отрываясь от мокрых штанов, Миша. — Что ты мне раньше ничего об этом не сказал?!

— Извините, молодые люди, у вас ещё будет время потягаться, — улыбочиво вмешался старец. — Вы вот лучше, — обратился он к Мише, — расскажите, что случилось там... за лесом? Ведь вы, верно, знаете уже кое-что?

Миша, прищурившись, смерил меня несколько раз ядовитым взглядом и для острастки поиграл желваками.

— Нас, к сожалению, не познакомили. — Он назвал себя полным именем.

— Иеромонах Нектарий, — отвесил светский полупоклон старец.

— По самым первым, до конца ещё не проверенным данным... они рванули, навскидку, сотню-другую килограммов гексогена на месте этой самой часовни... взрывчатку, видимо, таскали через подземный ход отсюда. — Миша ещё раз с прищуром посмотрел на меня. — К счастью, до пусковой шахты не добрались... что-то у них не срослось... кто-то перекусил провода от подрывмашинки... Начато следствие, — сумрачно и тщательно подбирая слова, проговорил Миша.

Мы со старцем молча внимали, не поднимая глаз.

— Судя по тому, что они некоторое время профессионально держали оборону, этот Мальков был с подготовленными боевиками, — продолжал Миша уже несколько напыщенно, словно на пресс-конференции, — по перебежкам их зафиксировали всего четверых... Командир части, полковник Шатров, в боестолкновении замечен не был, видимо, действительно был взят в заложники... Это пока всё, что известно. — Миша, заигравшись в сурового начальника, чрезвычайно строго, словно из-за придвинутой настольной лампы в кабинете особиста, посмотрел на нас со старцем: — Надеюсь, вы понимаете, что всё, что я сказал, не подлежит разглашению.

Мы понимающе кивнули и потянулись из подвала на улицу. В прозрачных, уже по-осеннему звонких сумерках перед домами группами собирались люди и неразборчивым гомоном делились, что у кого сорвано и разбито. Внезапно разом погасли уличные фонари и свет в окнах.

— Час от часу не легче, — сказал Миша и отвёл меня в сторону. — Кирилл, — заговорил он вполголоса доверительно, — дела закручиваются серьёзные, очень серьёзные... Я срочно уезжаю в Москву, взять тебя с собой при таких обстоятельствах не могу, извини... К тебе, видимо, придут... Никаких лишних слов, никаких эмоций... Тверди одно: подрядил Малькова на ремонт дома, тот попросил как журналиста распиарить часовню, больше ничего не знаешь...

Признаюсь, Мишины слова тронули меня. Вот она, старая дружба... Мы ободряюще похлопали друг друга по плечам. Миша подошёл к старцу попрощаться и, что-то быстро обдумав, предложил подбросить того до монастыря. Старец внимательно посмотрел на Мишу, как мне показалось, усмехнулся и, особенно не жеманясь, с удовольствием принял предложение. Тоже старая школа... Вскоре они укатили. Я остался один в быстро сжимающей пространстве двора темноте, с неясными мыслями и тревожными чувствами под грустное, не предвещавшее ничего хорошего шевеление сухих листьев на деревьях...

Я почти наощупь прибрал на столе под липами, оставил только бутылки с недопитым алкоголем, всё остальное сбросил, не разбираясь, в большой полиэтиленовый мешок и вынес в мусорный контейнер на улице.

Мимо пробирались по колдобинам и ямам, поругиваясь, две тёмные фигуры.

— Ребята, не слышали, что у нас со светом происходит? — обратился я к ним.

— Ты чё, мужик, не видел, как весь город пригнуло, — отвечал один с характерным подкашливанием заматерелого курильщика. — На центральной подстанции трансформатор накрылся... теперь пока починят...

— А что там за лесом рвануло? Что говорят?

— А хрен его знает, — отозвался тот же голос, — говорят, какие-то боевики на воинскую часть напали, ракету подорвали... Выброс, говорят, был... ядерная головка раскололась.

— Да не ври ты, если бы что, ты бы уже давно окочурился, — решительно оборвал его напарник.

— А чё мне врать, чё врать?! — огрызнулся прокуренный. — У Миши с Поповой горы счётчик зашкаливает... Он в МЧС работает.

— Ты сам-то видел, пургомёт? — урезонил его приятель.

— Чё мне видеть! — заерепенился тот, что с прокуренным голосом. — Галька, над нами живёт, видела... Она с Михой гуляет. Он ей показывал...

— Знаем, чего он ей показывал...

...Город в крошечной темноте боязливо отходил ко сну. Изредка в окнах окрестных домов привидениями блуждали размытые огоньки фонариков и свечей, да периодически кроили тёмное небо, словно фантастическими яркими ножницами, перекрещивающиеся столбы света от автомобильных фар. Я стал вспоминать, где у меня на всякий случай хранится фонарик. Вспомнил и нашёл его со всяким хламом в верхнем ящике кухонного стола. Там же наткнулся на внушительный амбарный замок с готовым, вставленным в поржавевшую скважину ключом и сразу понял, зачем он мне попался на глаза и куда его приладить. Спустился вниз и, подсвечивая фонариком, закрыл на него дверь в подвал. Кажется, он тут висел всегда. Тщательно запер на все крючки крыльцо. По свежим деревянным ступенькам из коридора направо и недавно пробитому входу в стене с крепкой надёжной дверью на засове поднялся на новую террасу. На ней, как только её пристроили, я сразу размышлялся поставить просторный диван, плетёную мебель с чайным столиком, большой письменный стол и сидеть, покуривать, пописывать, наслаждаясь красотами и размахом наших далее неоглядных. Не без некоторого опасения, признаюсь, ступил я в просторное и пока ещё пустое пространство террасы. Я понимал, кто мог быть с Лёхой там, в часовне, и кого я за время ремонта достаточно хорошо рассмотрел и запомнил. Они вполне могли быть где-то рядом... четверых взрослых мужиков моя лодка не выдержала бы. Фрамуги одного из окон терраски были широко распахнуты. Через него, похоже, и сиганул Лёха с подельниками к реке. Я поспешил закрыть оконные створки и закрепить на шпингалеты. Фонарик высветил на подоконнике фасонистую, светлых тонов, с закладывающимися ушками внутрь, летнюю Лёхину кепку. “Странно, — повертел я кепку в руках, — с Лёхиной головы просто так ничего не падает”. Посветил фонариком внутрь кепки, потряс, отвернул ушки... и тут выпала записка.

“Кирилл, — прыгающими, угловатыми буквами, с сильным наклоном влево писал Лёха на вырванной, судя по формату, из небольшого блокнота странице, — прости, что подставил тебя. Подземный ход в твой дом был обнаружен случайно, когда обследовали фундамент часовни. Работы по её восстановлению мы хотели использовать как прикрытие для переброски взрывчатки в часть. Ну, а потом это открытие подземного хода удачно легло в общий план. Брат погиб. От этого мне невыносимо тяжело и горько. Я его любил, очень, светлый был, золотое сердце, чувствительный человек. Он в последний момент дрогнул. Пытался всё отменить, от отчаяния даже стрелял в нас. Бросился перерезать провод к ракетной шахте, и перерезал. Тут его и накрыл второй, “запасной” взрыв в часовне. К счастью, я этого не видел. Ручку детонатора мы крутанули уже в подземном ходе. Один сообщил эсмэской оттуда, что брата нашли мёртвого, израненного. Трагическая смерть. Получается, погиб в огне. Как и наши далёкие с Борисом предки

триста с лишним лет назад на том же самом месте. Это знак. Мистика какая-то! Но определённую собственную вину в преждевременной смерти брата мне не замолить, не загладить уже никогда. За всё остальное — раскаяния нет. Россия гаснет. Этому надо решительно положить конец. Не мы, так другие это рано или поздно сделают. Возможно, прощай. Алексей Мальков”.

10

Утром, где-то около девяти, ко мне неожиданно заглянул Феодосий Павлович. Судя по воспалённо-блуждающему взгляду его покрасневших глаз, спал он очень мало или совсем не спал в эту ночь, но старался держаться молодцом, был тщательно выбрит, в свежей рубашке и при галстукке, что бывало с ним, когда он собирался по какому-либо торжественному поводу выйти на люди. С порога он, с трудом сохраняя хладнокровие, но внутренне, было заметно, весь трепеща, каким-то излишне деловым тоном объявил, что везде паника, что кто-то пустил слух, что взорвалась ядерная боеголовка, что все, кто может, драпают из Своробоярска, а кто не может, толпами валят на площадь с требованиями официального объяснения, что произошло и происходит в городе. “Это может обернуться чёрт знает чем!” — нервно, неприятно треща он переплетёнными пальцами рук, развинчиваясь на глазах и всё оживлённее разглагольствуя, что он знает радикальные настроения части народа, что всем всё надоело, что новые стенки разины и емельки пугачевы давно уже ждут своего часа. Мне с трудом удалось усадить разошедшегося не в меру старика за стол и напоить кофе.

— Прежде всего, — сказал я как можно твёрже Феодосию Павловичу, — надо немедленно остановить митинг, иначе вы можете оказаться с канистрой бензина на пожаре.

— Да, правильно, я тоже об этом первом делом подумал... но... как это сделать? — растерянно-умильно глянул на меня Феодосий Павлович. — Телефон не работает, а я всех наших вчера, ну, помните, когда администрация запретила, полдня настраивал на самые решительные действия. Может, оповестить народ по городскому радио? — задался он вдруг вопросом, идиотически широко открыв рот, и сам себе ответил: — Да какое тут к чёрту радио — электричества нет, суббота, времени совсем ничего... Кого смогу, сам обегу, а там на митинге всё надо объявить, остановить! — решительно поднялся он из-за стола.

Покорившись, я всё же показал Феодосию Павловичу записку Лехи Малькова.

— Мерзкий фармазон, всё-таки воспитал из племяшей бомбистов! — гневно вскинулся Феодосий Павлович, прочитав записку. — Это я про дядю Мальковых, — ответил Феодосий Павлович на мой вопросительный взгляд. — Эти Шатровы всегда рыли под государство, один из их предков входил даже в боевую организацию эсеров. Да, да, я находил свидетельства в разных источниках! Тут сопротивление государству наследственное, генное, как и среди многих старообрядцев... Я Лёше не раз об этом говорил, потому он и не любил меня... А записку сожги, — со значением посмотрел вдруг на меня Феодосий Павлович. — Вы с Мальковым были только школьные приятели, и не более того! — Похоже, ясность сознания возвращалась к моему старому другу и наставнику. Как это мне сразу не пришло в голову... Записка оставила на чайном блюде маленькую рифлёную горку пепла, предусмотрительно спущенную затем в унитаз.

Мы вместе вышли, точнее, выбежали почему-то, словно нас что-то ужасное преследовало, из дома. Феодосий Павлович снова пришёл в возбуждённое состояние и ходко рысил переулками к площади, “на перехват колонн!”, как он кричал, оборачиваясь и поторапливая меня, поспешавшего сзади. У памятника Ленину мы расстались. Старик с криками “Остановите! Остановите всё!” горячечно кинулся к какому-то знакомому, видимо, из его шарашки “Ренессанс”, а я взобрался на пьедестал к каменным ногам великого командора, чтобы оценить ситуацию сверху. Круглые часы на бледно-жёлтом фасаде районной почты напротив показывали без четверти десять.

Давненко, наверное, со времён тучных ноябрьских и первомайских советских сатурналий центральная, она же единственная площадь Своробоярска не была так оживлена и многолюдна. Тысяч десять, не меньше (правда, оперативники потом насчитали пять), своробояржцев густо заполнили галдящими головами пространство невеликой нашей “вечевой” площади. Только теперь вместо пышных праздничных транспарантов и бесконечного кумача в руках своробояржцев были развёрнуты скромные бумажные плакатики размером в страничку из школьной тетради. День задавался славный, с хрупящей хрустальной прозрачностью, блёсткий. Солнце начинало пригревать, раздражать сбившихся в огромную, и без того разогретую беспокойным перемещением массу тепло одетых с утра горожан. “Почему нас не эвакуируют?”, “Нас бросили здесь умирать!”, “Скажите правду, чинодралы!”, “Мы не Хиросима и Нагасаки!” — тянули вверх плакатики с нарастающим недовольным ропотом своробояржцы, напряжённо таращась в сторону районной администрации. Ждали выхода к народу Крошкина. Крошкин, однако, не спешил на Красное крыльцо. Внезапно бледно засветилась лампочка над входом в администрацию, слабыми желтоватыми фитильками загорелись уличные фонари. И на ступеньках главного подъезда города с мегафоном в руках, приедетый, как на пикник, в джинсах и белой спортивной куртке, в окружении районного синклита (мелькнуло круглое, в очёчках, чем-то напуганное лицо Калеватова) появился Крошкин.

— Дорогие своробояржцы! Товарищи! Вот и электричество наладили! — шмельём на цветке загудел в мегафон Крошкин. — Жизнь входит в нормальную колею! Мною уже дано распоряжение чинить крыши и бесплатно вставлять стекла. К понедельнику всё будет исправлено, совместными усилиями стихийное бедствие будет преодолено!

— Стихийное бедствие? — насмешливая рябь взъерошила площадь. — А счётчики зашкаливают!

— Какие счётчики? — наступательно зарокотал мегафон. — Это провокация! Я с вами, городу ничто не угрожает. Случился неудачный планово-учебный пуск ракеты... без всяких там боеголовок. Это я вам ответственно заявляю. Правоохранительные органы выявят провокаторов, распускающих живые, панические слухи, и строго, будьте уверены, накажут!

— А сам-то ночью семью со всем барахлом на трёх машинах в Москву отправил! А мы здесь подыхай?! — выкрикнул кто-то гневно из толпы.

— И снова ложь и провокация! — бровью не повёл Крошкин.

— Это ты ложь и провокация, — не унимался кто-то расхолившийся в толпе, — я сам там был неподалёку, всё заснял, фотки есть! И вообще, сколько у тебя квартир в Москве и за границей?

— Ворюга! — вдруг лохмато и угрюмо прокатилось по толпе, неожиданно тяжело колыхнувшейся на полшага к подъезду администрации. — Расстрелять тебя мало!

Крошкин врос в землю и, побледнев, опустил мегафон. Ему бы уйти в тот момент от греха подальше, но он стоял, словно вкопанный, переживая жертвенные секунды полного обмирания.

— От лица общественности мы объявляем вам импичмент! — раздалось над площадью. С чугунных стоп вождя я увидел, как стройными железными фалангами толпу взрезали накошники Феодосия Павловича. Ровно в десять, как и намечали. Сам стратег метался с развевающимися седенькими волосами, выбившимися из-под берета, между колоннами демонстрантов, отчаянно жестикулируя и, видимо, пытаясь развернуть свою армию вспять. Но у масс уже, судя по всему, появился новый вождь и кумир. Это был (я узнал его) учитель истории одной из наших школ, который с самым решительным, иступлённым выражением тонкого, нервно-подвижного лица истерично отдавал команды по установке в центре площади небольшой трибуны и звукоусиливающей техники. Ещё мгновение, и над головами собравшихся с хлопаньем (откуда-то вдруг и ветерок потянул) развернулись тщательно прописанные, широкие паруса транспарантов. Ликуй октябрь семнадцатого! “Где новые фабрики и заводы?”, “Когда снова начнём пахать землю?”, “Дашь району детсады и школы!”, “Ударим по рукам грязнохватов!”, “Чинов-

ников-казнокрадов — в тюрьму!”, “Долой самодержавие бюрократии!”, “Вся власть народу!” — окрасилась свежим кумачом площадь.

— Мы требуем не только вашей отставки, мы требуем справедливого суда над вами и вашей камарильей, доведшими город и район до полного обнищания и разорения! — ярился с трибуны учитель истории, вооружённый уже микрофоном и стократно усиливающими его зазорный голосок мощными динамиками.

— Судить вору! — тысячеголосым, мрачным рокотом отозвалась толпа.

Крошкин медленно и опасно, как пистолет к виску, снова поднял мегафон к лицу.

— Товарищи! Граждане! — голос его неожиданно потерял начальственную басовитость, стал тонким и заискивающим. — Я готов поддержать развёрнувшуюся дискуссию, пусть даже и на площади... источник власти у нас народ...

— О народе вспомнил! — заголосили в толпе. — А ты знаешь, что у народа зарплата — копейки, что детей в детский сад не устроишь, что у ветеранов в домах потолки обваливаются, крысы по кроватям бегают, и чтобы с голоду не сдохнуть, мы на работу в столицу мотаемся, полжизни в вонючих электричках, в четыре встаём, в девять приезжаем, вы превратили нас в быдло, а сами только хапаете и карманы набиваете, ряски ненасытные!

— Теперь вы слышите глас народа, а глас народа — глас Божий! И вы за всё ответите! — так и взвился на трибуне учитель истории. — За время вашего бесконечно-ненасытного правления вы превратили наш край в гнездо коррупции и разврата, где правят бал казнокрадство, взятка и подкуп, где разорены и разворованы все заводы, где в деревнях пашни заросли лесом, где закрываются больницы, фабрики, школы, где вместо дорог, как во времена Гоголя, остались только направления, где половина населения — безработные, где самые богатые — пенсионеры... И это в то время, когда узкая группа людей во главе с вами жирует на ворованные бюджетные деньги, строит особняки, покупает недвижимость в столицах и за рубежом, купается в роскоши! Скажите, какого ещё арабского скакуна вы подарите своему внуку на его очередной день рождения?! Может, в золоте отольёте?!

Народ рукоплескал оратору, народ заходился в восторге, народ ликовал.

С высоты ленинского пьедестала я увидел, как попытался овладеть трибуной мятущийся Феодосий Павлович и, надо отдать ему должное, едва не преуспел в этом, даже на время с силой вырвал микрофон у распялённо-дерзкими речами учителишки и прокричал, что это не митинг, а подстрекательство к бунту, разжигание низменных страстей толпы, что радикализм всегда губил Россию, но, схваченный крепко чьей-то сильной рукой за воротник — “Не мешай людям правду говорить, пустозвон!” — был грубо низвергнут с трибуны и за галстук, намотанный на кулак, с позором, под насмешки и улюлюканье толпы потащен куда-то за торговые палатки. Я кинулся, было, ему на помощь, но тут моё внимание привлекли два странных, заляпанных грязью от колёс до самого верха, стареньких, разболтанных “Зилка”. Машины медленно и осторожно, на малом ходу, приседая на ямах под тяжестью груза, выползли из переулочка, вплотную примыкавшего к площади. Аккуратно развернулись задними бортами к толпе. Три ловкие и быстрые фигуры, выпрыгнувшие из кабин, — в одной, мне показалось, я узнал Усатого, но только без усов, — выставили знаки “Дорожные работы”. “Зилки”, натуженно ревя изношенными движками, выбрасывая клубы чёрного дыма, подняли кузова и, содрогаясь от напряжения, щедро ссыпали под ноги митингующих груды увесистых, обточенных водой, как круглые бомбы, речных гольшей. Я услышал, кажется, ещё, как с характерным звуком зазвенели, подскакивая и раскатываясь по асфальту, какие-то металлические заготовки. Так же неброско и спокойно, как и прибыли, грузовики затем снова втянулись в переулок. Всё это произошло в течение каких-то двух-трёх минут. Когда я снова попытался отыскать взглядом Феодосия Павловича, его уже нигде не было.

— Вот видите, — нашелся Крошкин, — уже начался ремонт нашей площади. А за годы моего какого-то там нехорошего правления, как тут изволили выразиться, в городе и районе построены и сданы в эксплуатацию

три тысячи метров дорог с твёрдым асфальтовым покрытием, уложенные тысячи метров новых бордюров, заасфальтированы километры тротуаров, приведены в порядок ряд детских игровых площадок...

— Вы издеваетесь над нами! — сардонически захохотал с трибуны учитель. — Три километра асфальта — это, я должен вам заметить, ровно столько от города до вашей трехэтажной дачи под монастырём! А свеженьким бордюриком вы обложили её по периметру, проложили там и асфальтовые дорожки, оборудовали, не в пример убитым городским, затейливые игровые площадки для внучат. И всё за казенный счёт, за наш счёт — налогоплательщиков! Да вас за такое благоустройство давно пора отправить за казённый счёт в казённый дом — благоустраивать солнечный Магадан!

Толпа буквально выскочила из штанов. Люди ревели и топали ногами, как буйно-помешанные, несколько чрезмерно экзальтированных особ женского пола начали остервенело визжать и царапать друг друга, мужчины имитировали в сторону администрации выстрелы от плеча.

— Это ложь! Гнусная ложь! — зашёлся вдруг на высоких нотах Крошкин. — Дача никогда не принадлежала мне. Моя дочь в Москве занимается бизнесом, она её и построила, она ей и принадлежит! Я живу, как все, в обыкновенной, ещё советской квартире! Сами знаете! А если у меня и есть какие-то упущения, то, как говорят, кто из вас без греха, пусть первый бросит в меня камень!

И камень бросили. Никогда, никогда не говори в грозу “Разрази меня гром!” Ибо это роковые слова, таинственно вдруг обретающие смертельно-материальную силу... И камень бросили. Из той самой кучи речных голышей, что предусмотрительно оставили на площади старенькие, таинственные “Зилки”. Небольшой такой, но увесистый камушек, пущенный чьей-то дерзкой и меткой рукой, рассёк Крошкину бровь. Крошкин с удивлением мазнул ладонью кровь, на удивление обильно хлынувшую из небольшой ранки, напряжённо всмотрелся в неё, обморочно пошатнувшись, сделал шаг вперёд, словно споткнувшись, склонил голову перед толпой. Женщины в первых рядах взвизгнули и бросились врассыпную. В следующее мгновение несколько камней с мягким шлёпающим звуком пришили Крошкину в плечи и в грудь. Один угодил в темя. Крошкин выпрямился, интуитивно прикрываясь мегафоном, свободной рукой схватился за голову... Ещё через миг он был сбит с ног каменным ливнем. Толпа, зверем завыв, качнулась в сторону поверженного.

...Боюсь, я не всё успел зафиксировать глазом и запомнить, что было дальше. Я же не видеокамера. И вряд ли когда мне удастся посмотреть оперативную видеосъемку. Если она, конечно, в чём я сильно сомневаюсь, велась... А вот что запомнил точно, об этом расскажу. Запомнил, как в короткую паузу, перед тем как площадь опрокинулась “волной-убийцей” на Крошкина, перед толпой выросла знакомая, вызвавшая вдруг острую жалость, тщедушная фигурка старца Нектария. Он-то, подумалось, с какого перепуга здесь оказался! Старец попытался с крестом в руках образумить обезумевшую толпу, что-то горячо втолковывал, осеняя людей, как молнией, сияющим на солнце крестом, и толпа как бы замерла, замялась в короткой нерешительности перед отважным пастырем, но тут на трибуну взметнулся решительного вида человек, по фигуре очень знакомый, в пятнистом, камуфляжном одеянии, в низко надвинутой на лоб защитного цвета фиделькастровке и, властно отобрав микрофон из рук потрясённого расправой с Крошкиным, от страха потерявшего дар речи учителя истории, голосом Лёхи Малькова прокричал: “Долой прогнившую власть! Долой разорителей России!” И старец был смят, отброшен бумажным корабликом в сторону напоенным агрессией и ненавистью потоком вызверившихся людей, которые с камнями и арматурой в руках (вот что, оказывается, сыпалось и звенело вместе с камушками из “Зилков”) бросились, безжалостно растапывая тело несчастного Крошкина, громить здание районной администрации. Жидкий полицейский наряд вместе с крошкинской челядью сыпанул юркими тараканами по сторонам. В памяти осталось, как бежал по зелёным газонам и жёлтым осенним цветам вдоль фасада администрации, пронзительно визжа, Калеватов, охаживаемый с остервенением железными прутьями двумя

бандитского вида молодчиками... Сохранила память и удивительно знакомый белый “рафик”, плавно подкативший к площади со стороны вокзала, из которого было стремительно выгружено тройкой молодцеватых (снова показавшихся знакомыми), с военной выправкой людей несколько ящиков с тёмно-зелёными бутылками. “Коктейли Молотова” привезли! Теперь есть чем угостить мордатых!” — с весёлой разухабистостью и радостным гомоном встретили эту новость на площади.

И когда с лязгом и грохотом тяжело раздвинулись железные ворота внутреннего двора полицейского участка, что приткнулся невзрачным, двухэтажным зданием почти вплотную к районной администрации, и оттуда стали бодро выскакивать, выстраиваясь цепью, люди без спецэкипировки, в простой форме и с короткоствольными автоматами, а затем без предупреждения дали очередь поверх голов, толпа в страхе присев, потом неумно взъерившись, ответила уже не только камнями, но и вовремя оказавшимися под рукой бутылками с зажигательной смесью. Несколько полицейских подпрыгивающими факелами, с воплями и проклятиями, бросились назад за ворота, где, катаясь по земле, сбивали на себе пламя; другие в панике, что могут оказаться заживо сожжёнными и забитыми камнями, открыли беспорядочный огонь на поражение.

В животном, предсмертном ужасе толпа тысячами глоток исторгла леденящий душу вопль отчаяния (мне показалось, что зашевелился каменный истукан надо мной, словно дрогнуло и у него его каменное сердце) и бросилась с площади тяжёлой лавой, давя и сминая друг друга. И тут сухо защёлкали, выбивая короткие облачка пыли, по асфальту и по стенам участка, метившие в стрелявших полицейских пули невидимого снайпера. Стреляли, судя по всему, из единственного высотного девятиэтажного жилого дома рядом с площадью. Его построили ещё в семидесятые годы прошлого века для местной партийно-хозяйственной верхушки, за что дом был окрещён в народе “дворянским гнездом”. Несколько точных выстрелов откуда-то с верхних этажей коммунистического “дворянского гнезда” (как знак ещё не законченной борьбы) заставили полицейских в панике, волоча за собой убитых и раненых, убраться с площади. Толпа развернулась и с удесятёрённой яростью бросилась на своих мучителей. Она дикой, необузданной стихией ворвалась в участок, ломая и круша всё на своём пути. Те из полицейских, кто не успел сбежать или спрятаться, были растерзаны на месте. Запылали костры в кабинетах. Из окон на площадь полетели вороха обугленной бумаги и мебель. Тут же без долгих разговоров была решительно вскрыта ружейная комната. Несколько десятков автоматов, гранатомёты, пара ручных пулемётов, цинки с патронами были переданы в руки бойцов, из ничего возникшего, “батальона самообороны восставшего народа”. И тогда на площади, перед странно притихшим народом, явился с самым суровым и грозным видом, с решительно выдвинутой вперёд своей неандертальской челюстью Лёха Мальков. На широком офицерском ремне у него болтались несколько гранат и “стечкин” в кобуре. В камуфляже, в сурово надвинутой на лоб защитного цвета фиделькастровке, он был вылитый команданте барбудос, правда, пока ещё без бороды. Сзади маячили с самым решительным видом, готовые на всё два нукера (в обоих я узнал моих строителей) с автоматами. Лёха передал мегафон.

— Братья! — лязгнул челюстью Лёха. — Нас могут раздавить здесь за несколько часов, если мы не окажем достойного сопротивления и если нас не поддержит Москва. Администрация города в наших руках, окружим её надёжным кольцом баррикад! А в Москве уже высадилось несколько электричек наших земляков, ещё утром эвакуировавшихся из города. Они продвигаются к Красной площади, к ним присоединяются тысячи наших единомышленников в столице. Я уже обратился через интернет ко всей России поддержать наше восстание! Десятки городов поднимаются против закравшихся, толстомордых воров, до нитки разоривших страну и народ! Россияне достойны лучшей участи! Власть народу! На баррикадах отстаим своё право быть хозяевами в родной стране! Слава России!

— А что там с радиацией? Есть она или нет? — крикнул кто-то памятный из толпы.

— Успокойтесь, друзья! — осклабился Лёха. — Никакой радиации не было и нет. Был... направленный взрыв, — он с нескрываемым самолюбованием и щегольством выделил голосом последние слова, — направленный взрыв всего лишь какой-нибудь тонны гексогена.

Толпа, уже мало задумываясь над происходящим, с разухабистым балагурством и подмигиванием: “Знай наших!” — встретила сомнительное Лёхино признание.

Мне казалось, это был какой-то дикий, нелепый сон. “Ущипни себя и проснись!” Несколько пуль, точно выпущенных снайпером (был он явно с воображением) по кепке вождя, зажатой в каменной деснице над моей головой, вернули мне ощущение, что всё происходит в реальности. Оставшись без кепки в руке, великий теоретик и практик революционного движения уже не просто звал куда-то, в какие-то светлые дали, а смело атаковал и взрывал окружающее пространство своим освобождённым выстрелами железным кулаком. Старые символы на новый лад! Однако затейник был этот снайпер! Он и мне давал понять, вдруг понял я, что держит и меня на мушке и в любой момент может скорректировать и моё поведение. В радикально изменившихся условиях лишним свидетелем тут было не место. Я тихо сплз с чугунных ног вождя на грешную землю, осторожно миновал чем-то странно ошарашенные толпы, с воодушевлением бревноносцев первых коммунистических субботников воздвигающие из всякого подручного хлама хилые баррикады вокруг своробоярского “Белого дома”, и кривыми палаточными улочками нашего торгового капища, в обход страшного места, со странным облегчением и содрогаясь от увиденного, бросился со всех ног домой. К площади, включив мигалки и отчаянно сигналив, съезжались за первой смертельной жатвой “восставшего народа” машины “скорой помощи”...

Круглые часы на бледно-жёлтом фасаде почты показывали полдень. Всего лишь полдень. Всего лишь два часа было отмерено от чего-то... И всё — иное. Как стремительно-тяжеловесно бывает время! С какой всеколлапсирующей силой оно таинственно преобразует до неузнаваемости всё вокруг! Как легко захватывает оно человека, как безжалостно давит и увлекает в бездну!

Обычно шумно-горлающее, перекачивающееся людскими потоками, грязно-захлапленное пространство торгового райка было непривычно пустынным и чисто прибранным. Ряды ларьков, палаток, магазинчиков, как бронепоезда, укутались в тяжёлые железные листы. Везде были решётки и амбарные замки на массивных цепях. Новоявленное купечество, в страхе разбежавшись, ждало погромов. Но революционная стихия ещё не перелилась через край своей колыбели. Пока она плескалась и негодовала только на площади. Мои шаги, единственного здесь прохожего, гулко отдавались в закованных железом лабиринтах. И странным было вдруг увидеть на скамейке рядом с памятным трактиром “У Вадика” одинокую фигуру человека. Это был Феодосий Павлович. Он сидел и, часто вытирая глаза платком, тихо поскуливая, плакал. Виноват, я тогда смалодушничал и не подошёл к старику. Мне не хотелось ни с кем видаться, ни с кем объясняться, мне хотелось единственного: спрятаться в свою норку, забыться, раствориться. Я прошмыгнул мимо Феодосия Павловича и, постыдно крадучись между ларьками, незаметно ушёл в сторону нужного мне переулка. Я помню, был даже разозлён на старика, видимо, за его болтовню, частично приведшую к такому развитию событий...

В величайшем раздражении, можно сказать, в каком-то нервном кипении вбежал я к себе во двор. Но видаться и объясняться мне, похоже, в тот день было предопределено. Как-то всё сходилось в одну точку. За столиком под липами меня ждал — нет, пока ещё не человек в форме. Меня ждал человек в рясе... отец Нектарий. Обычная приветливость и ласковость во взгляде не оставили его и сейчас. Он читалась в глазах и какая-то печаль, надорванность. Выглядел старец уставшим и как-то разом рухнувшим и немощным. Но по-прежнему пытливо и остро он считывал и у меня что-то новое с лица. Вглядевшись в меня, он жалостливо сморщился, приподнялся со скамейки и почти рефлекторно поднял правую руку на уровень плеча.

— Благословите, батюшка! — вдруг вырвалось у меня, и я, подчиняясь какому-то новому, сильному, прежде не испытанному чувству, поклонился старцу в пояс.

— Бог благословит! — с особым, радостным участием ответил старец, горячо перекрестив меня. В восторге я прижал к его руке.

Никогда до этого, должен к своему стыду признаться, я, дитя атеистического века, не то что не испрашивал благословения у священнослужителя, но мне даже в голову не приходило приблизиться к священнику с желанием исповедаться, причаститься Святых Тайн. Как открыть душу какому-то незнакомому, чужому, тоже грешному человеку? Нет, этого я никогда не понимал и не принимал. А уж лобызать руку у мужчины вызывало у меня, — прости, Господи! — просто брезгливое чувство. Хотя я, благодаря стараниям одной дальней родственницы со стороны матери, очень набожной старушки, в детстве был тайно крещён. А книги, как я уже рассказывал, обнаруженные мной в подростковом возрасте в подвале нашего дома, — Евангелие, Четьи-Минеи, Жития святых — всегда вызывали во мне какой-то особый душевный трепет, полный благоговения и отрады. Но, как говорят сейчас, воцерковленным я не стал. И вдруг вот это: “Благословите, батюшка!” — и искреннее, я бы даже сказал, страстное, какое-то из глубины сердца прощавшееся желание благодарно поцеловать руку благословившего тебя священника. Впрочем, буду уж честен до конца, когда я опомнился, я смутился. Мне кажется, даже покраснел. Что не осталось незамеченным старцем. Он только понимающе-ласково посмотрел и как-то по-отцовски потрепал меня, когда я оторвался от его руки, по волосам.

— Я и сам не знаю, что будет теперь, — неожиданно горько признался старец, — душа моя тоже в страхе и трепете пребывает... Новой великой смуты боюсь... Россия её уже не переживёт... Если не появится новый царь, который властной, царской рукой... Но боюсь, время царей прошло... Боюсь, ещё один, страшный, последний распад грядёт... Из чего родилась великая Русь, в то и вернётся... — отрывистыми недоговорённостями заговорил он. — Может, и не прав был великий наш душевед и писатель с его “и я не пойду...”? — задался вдруг странным вопросом старец. — Ведь я же понял тогда его, военного... Бориса, когда он ко мне приходил, во всём понял, он почти прямо мне всё сказал... А потом этот подземный ход... Мне разом всё открылось... Но я никуда не пошёл... И вот сколько крови пролилось, и сколько ещё может пролиться!

Видимо, в моём взгляде, перехваченном старцем, было столько недоумения и растерянности, что старец, словно в испуге, зажмурил глаза.

— Не смотрите на меня так, — еле слышно сказал он, разлепляя веки, — извините... Я, как и все смертные, тоже впадаю в грех отчаяния и сомнений... особенно после того, что случилось сегодня. Ведь, кажется, можно было всё предотвратить... Но как предотвратить то, что по делам нашим приводится в движение уже не человеческой рукой? — как-то виновато посмотрел он на меня.

И в эту минуту в кармане моей куртки пойманной рыбкой в сетях задержался сто лет молчавший мобильник. Звонил Миша Васильев. “Как всегда, очень вовремя... нанесла нелёгкая!” — чертыхнулся я про себя — беседовать о чём-то с Мишей в такой час у меня не было ни малейшего желания. Но я всё-таки ответил на звонок.

— Ну, слава Богу, жив! — мрачно изрёк Миша вместо приветствия. — Много народу покروшили в вашем древнем кровопийственном граде? Что там у вас происходит?

— У нас погром... кровавый, — выдавил я. — А у вас?

— “Русский бунт, бессмысленный и беспощадный?” — не стал напрягаться в особой изобретательности Миша, нарочито пропуская мимо ушей мой вопрос.

— Что-то похожее на это... Здесь говорят, до Москвы докатилось? — снова спросил я.

— Да как тебе сказать, — на этот раз осторожно ответил Миша. — Тут какие-то крикуны на Красную площадь лезут... но их уже начали оттеснять. А у вас там что, действительно оружие в ментовке захватили?

— Действительно, — подтвердил я, — появилась вооружённый отряд какой-то революционной самообороны, баррикады возводят.

— Однако, дела... И снайперы у вас постреливают? — продолжал методично вытягивать информацию Миша.

— Постреливают, — односложно отвечал я.

— Тут с ГУМа сегодня тоже попытались... но их быстро нейтрализовали, — простимулировал мою откровенность своей дозированной откровенностью Миша. — На что только надеются? Здесь не Хохляндия, порядок будет наведён быстро... К вам тоже отправлен спецназ, ну, ты понимаешь... Слушай, Кирилл, — неожиданно сказал он как бы между прочим, — а ты не мог бы, ну, как очевидец, с журналистской наблюдательностью, так сказать, набросать своего рода записочку, ну, репортаж, если хочешь... с живыми сценками, именами, если кого запомнил из наиболее активных у вас там, ты же местный, многих, что называется, знаешь в лицо... гонорар обещаю приличный. — Слышно было в трубку, как Миша ухмыльнулся.

Меня так и подбросило:

— Ничего я писать не буду! Мы с тобой об этих делах уже говорили. Ты чем слушаешь?!

— Ну, ладно, ладно... чего разошёлся, — быстро свернул тему Миша, — и всего-то по-дружески хотел попросить... Мне бы это помогло, — сделал он значительную паузу. — Э-э, чёрт! — вдруг закричал он. — Они всё-таки прорвались по Ильинке на Красную площадь!

Связь оборвалась. Я встретился глазами со старцем.

— Вы правильно ответили... Лучший ответ всегда “да” или “нет”, — с каким-то облегчением сказал он. — Хотя государство можно и должно поддерживать, — в вязкой, медленной задумчивости добавил старец, опуская глаза. — Для русского человека государство — всегда его последняя надежда и защита, русский человек интуитивно оберегает своё государство, он льнёт к нему, как к тёплой печке зимой... Но вот власть, олицетворяемая конкретными людьми? Что с ней делать, с этими господами, когда они перестают понимать свой народ? Начинают беззастенчиво грабить, унижать, презирать его... Тут всегда путаница у нас роковая. Начиная борьбу с властью, мы всегда разрушаем государство... После чего смута, резня, запустение... Так с чем борется, когда хватается за вилы, обиженный русский человек — с властью или с государством? Не знаю...

Внезапно мы оба замерли и разом повернули головы в сторону площади, где вдруг звучно ухнули и тугим, коротким эхом плеснулись по разреженным осенним увяданием переулкам несколько взрывов, и, как по команде, в скороговорчато-пульсирующем захлёбе пулемётов вдруг стремительно разгорелась яростная пальба. Бой начался зло и решительно, сцепились там, похоже, насмерть.